ЕЖИ ПИЛЬХ

Песни пьющих

ИНОСТРАНКА

ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ

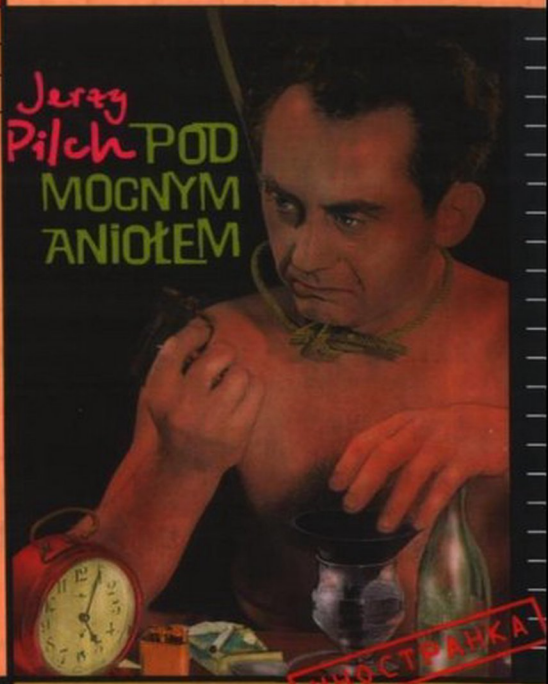
Литература нового века

©

9 795941 451936

Jerzy Pilch

POD MOCNYM ANIOŁEM



ИНОСТРАНКА

0 2 9

[Куда бы ни обратил ты лик свой, какую из троп, ведущих сквозь топи, ни выбрал, везде повстречать можешь ангела с огненным мечом, и речет тебе ангел (а голос его будет подобен шуму вод многих), и спросит: почему же ты не пьешь, брат мой?]

ЕЖИ ПИЛЬХ

Песни пьющих

0 2 9

©

Песни пьющих
Ежи Пильх

Аннотация
Ежи Пильх. ПЕСНИ ПЬЮЩИХ
1. Желтое платье
2. Темнокожий боксер
3. Доктор Гранада
4. Полсотенная купюра
5. Пролегомены идеального порядка
6. Ася Катастрофа
7. Начало
8. Колумб Первооткрыватель
9. Принцип неопределенности
10. Река блаженного покоя
11. Альберта Байбай
12. Все стиральные машины на свете
13. Цитаты
14. Стихи Альберты
15. Голубые песцы
16. Колядки
17. Письмо из отделения для делирантов
18. Доктор Свободзичка
19. Дочери Королевы
20. Похороны Дон Жуана

21. Четверг, 6 июня 2000 года
22. Гнедой Фукс
23. Горячие чувства над Утратой
24. Неописанный побег Шимона
25. Вечное пробуждение

Аннотация

Ежи Пильх (р. 1952) — один из самых популярных современных польских писателей автор книг «Список блудниц» (Spis cudzołoznic, 1993), «Монолог из норы» (Monolog z lisiej jamy, 1996), «Тысяча спокойных городов» (Tysiąc spokojnych miast,1997), «Безвозвратно утраченная леворукость» (Bezpowrotnie utracona leworęczność, 1998), а также нескольких сборников фельетонов и эссе. За роман «Песни пьющих» (Pod mocnym aniołem, 2000) Ежи Пильх удостоен самой престижной польской литературной премии «Ника».

«Песни пьющих» — печальная и смешная, достоверно-реалистическая и одновременно гротескно-абсурдная исповедь горького пьяницы писателя Ежи П. Жизнь героя-автора и его сотоварищей, одолеваемых зеленым змием, поделена на неравные отрезки: пребывание дома, где они, большей частью безуспешно, пытаются вести нормальное, «трезвое» существование, и в клинике, где их лечат от алкоголизма.

Ежи Пильх
ПЕСНИ ПЬЮЩИХ

1. Желтое платье

До того, как в моей квартире появились мафиози со смуглолицей поэтессой Альбертой Байбай, до того, как они вырвали меня из хмельного сна и потребовали — начав с лицемерных просьб и закончив наглыми угрозами, — чтобы я помог опубликовать стихи Альберты Байбай в еженедельнике «Тыгодник повшехны», до того, как развернулись бурные события, о которых я собираюсь рассказать, был канун событий, было утро и был вечер предыдущего дня, и я с раннего утра и до вечера предыдущего дня потягивал абрикосовую палинку. Да, по уши погрязнув в распутной жизни, я пил палинку и в дикой тоске мечтал о последней, предсмертной любви.

До полудня ничего не происходило: действия мои отличались сдержанностью и даже умеренным аскетизмом. До полудня я валялся на кушетке, читал газеты и слушал пластинки с записями чешского тенор-саксофониста Феликса Словака. К полудню, однако, мое сознание утомилось; из всего набора мелодий, исполняемых Словаком, до меня теперь доходила одна только вещь, а имен-

но композиция Карела Свободы «Where'we you got your nest little bird?». Я слушал и прикидывал, как это название может звучать в чешском оригинале: «Kde je tvoje hnizdo, ptacatko?» или «Kde je tvoje hnizdo, ptacku?». Не будучи в состоянии решить, какое из уменьшительных — более слабое ptacku или более сильное ptacatko — звучит лучше и адекватнее, иными словами, ощущая свою лингвистическую беспомощность (хотя и не переставая восхищаться Свободой), я то и дело вставал с кушетки, подходил к проигрывателю и вновь запускал эту тронувшую меня до глубины души композицию.

Был прекрасный июльский день, с двенадцатого этажа я отчетливо видел очертания окружающих город холмов и еще много чего за ними: поля, столбы электропередач, железнодорожные пути, плавно несущую светлые воды свои реку забвения, горы на горизонте, Вислу[1], белым камушком лежащую на дне поросшей хвойным лесом долины, пивную «Пяст» и пахнущий свежескошенной травой садик при пивной, рои пчел и бабочек над кружками с пивом. Поседевший волкодав доктора Свободзички лакает

[1] Примечания: 1

Висла — городок в Бескидах, недалеко от истоков реки Вислы. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

свой паек из жестяной миски — доктора уже год как нет в живых, но верный долголетней привычке пес каждый день приходит в пивную, и те из завсегдатаев, что еще живы, наполняют его миску бочковым «Живцем», отливая туда поровну из своих кружек.

Все это я видел так отчетливо, словно сам там был, — и здесь, где я и вправду был, я тоже все видел: окна в домах были открыты, по улице изредка проезжали автомобили старомодной обтекаемой формы, перед банкоматом стояла женщина в желтом платье на бретельках. Сверху она мне показалась умной и красивой. И вдруг я с неколебимой уверенностью ощутил, что это и есть последняя любовь моей жизни. Уверенность была всеобъемлющей: не только моя пьяная часть, но и моя трезвая часть, а также все прочие, не прошедшие испытания на трезвость и потому не зачисленные ни в какую категорию части моей души, похоже, эту уверенность разделяли. Теперь мне бы следовало не мешкая одеться, побрызгаться одеколоном, сбежать, не дожидаясь лифта, вниз и кинуться вдогонку за желтым платьем. С минуту я всерьез раздумывал, не поступить ли так, однако на пути у моей любви встал банкомат. Если бы я и в самом деле сбежал

вниз и устремился вслед за женщиной в желтом, я действовал бы так, как действовал всегда: шел бы за ней пружинистым неумолимым шагом серийного убийцы, упорно шел, ловко лавируя среди прохожих, шел до тех пор, пока бы она меня не заметила, пока не убедилась с паническим ужасом, что кто-то неотступно ее преследует. Потом, уже ею замеченный, я бы с отчаянием разоблаченного злоумышленника еще некоторое время продолжал погоню — пока охватившие ее тревога, страх и любопытство не стали бы соединяться во взрывоопасную смесь… Тогда — дабы не допустить взрыва — я бы решительно ускорил шаг и, поравнявшись с ней, изысканно поклонился и проговорил с зазывной хрипотцой в голосе:

— Ради бога простите, простите ради бога, но я так долго (тут бы мой зазывно хрипловатый голос дрогнул, якобы от робости), так долго уже, бесконечно долго иду за вами, что решил в этом признаться…

Тут она, ясное дело, разразится переливчатым смехом, в котором, кроме сучьей сытости, послышится облегчение: она поймет, что ее преследует не жестокий маньяк, жаждущий удовлетворить свою похоть, а тонкий ценитель Прекрасного.

— По какой же, интересно, причине, ах, по ка-

кой такой причине вы пустились за мной вдогонку? — спросит она и очаровательно улыбнется, хотя в ее голосе еще будут дрожать нервические нотки.

— Неужели, ну неужели так трудно понять? — пылко воскликну я и пущу в ход все свое красноречие, и речи мои польются, как лирические стихи, завораживающие своим ритмом и метафоричностью; я пел бы для нее убедительный любовный гимн, и уже после второй-третьей строфы она — полностью убежденная, готовенькая, покорная, по уши влюбленная — была бы моя, моя навеки, и я повел бы ее по светлой дороге нашей совместной жизни.

Но, увы, я не мог так поступить, не мог на этот раз применить классический набор безотказных приемов. Как идти рядом с женщиной, минуту назад получившей наличные из банкомата? Как потом объяснить вызванным ею полицейским, что не бандитская жажда наживы мной руководила, а любовь с первого взгляда? Чего там — и пытаться не стоило; я махнул рукой, сдался и печально глядел с двенадцатого этажа, как женщина, которая должна была бы стать моей женой и матерью моих детей, уходит. С великой грустью я наблюдал, как последняя любовь моей жизни

отходит от банкомата и, пройдя еще несколько шагов по улице Иоанна Павла, навсегда, навсегда сворачивает на Панскую. Очередной раз в истории человечества большое чувство уступало деньгам. Меня вдруг обуяла жуткая злость на эти банкоматы, которых еще пару лет назад не было и в помине. Меня обуяла ярость, я вспомнил о падении Берлинской стены — теперь я уже не рад был падению Берлинской стены, ведь все эти энтузиасты, кувалдами разбивающие Берлинскую стену, отнимали у меня брюнетку в желтом платье, и на «Солидарность» я был зол, потому что «Солидарность» отнимала у меня брюнетку в желтом платье, и Лех Валенса отнимал у меня брюнетку в желтом платье, и Иоанн Павел II, призывающий Святого Духа снизойти, отнимал у меня брюнетку в желтом платье, и снисходящий, дабы изменить обличье Земли, Святой Дух отнимал у меня брюнетку в желтом платье. О господи, подумал я, если б все было по-старому, если бы коммунизм не пал, если бы не было свободного рынка, если бы в этой части Европы, где я родился, не произошли радикальные перемены, у нас сейчас не было бы банкоматов, а не будь у нас банкоматов, все между мной и темноволосой красавицей в желтом платье сложилось бы как

надо.

Никто, однако, даже Святой Дух не повернет хода истории, никто и ничто не повернет брюнетку, скорее всего уже приближающуюся к углу Панской и Желязной, и на мою долю останутся только тоска, боль и горечь разлуки со стройным телом, облаченным в желтое платье. Правда — и я не мог этого не заметить, — боль и горечь разлуки усугубляли все то прекрасное, что меня окружало. По-прежнему чувствительно и трогательно, даже еще чувствительнее и трогательнее звучал тенор-саксофон Феликса Словака. Я поднял взгляд: трамвай ехал среди трав — таких высоких, что могли бы скрыть коня вместе с всадником; неподалеку, во внушительных административных зданиях на площади ООН два охранника в форме обходили служебные помещения, зажигая и гася свет и поглядывая на меня сквозь венецианские окна, над крышами и антеннами плыло светлое облако, был изумительный день в разгаре лета. День, какого ждешь целый год, а может, и не один год; день, когда человек в любую минуту может бросить пить.

Я отвернулся от окна и обвел глазами наполненную звуками саксофона комнату; в стоящей на столе бутылке было еще изрядно палинки, я

подошел, налил, выпил, и меня посетило озарение. Боже, какое меня посетило озарение, как оно соответствовало исключительности дня! В утробе моей вспыхнул ровный и приветливый свет, мысли мои мгновенно складывались в отточенные фразы, движения мои были безошибочны. Я принимал душ, мыл голову, одевался, брызгался одеколоном и, не дожидаясь лифта, сбегал вниз, и бросался на поиски красивой и умной брюнетки в желтом платье на бретельках. Я готов был обойти Панскую, Желязную, Злотую, Сенную, все до единой улицы, готов был облазить весь город, заглянуть во все подворотни, звонить во все квартиры — я знал, что найду ее. Я знал, что найду ее на земле — не в небесах; при жизни — не после смерти; наяву — не во сне.

2. Темнокожий боксер

Мне снилось, будто я ищу что-то на дне океана, мне снилось, будто темнокожий боксер зевакам на потеху забирает у меня из-под носа полную кружку пива, во сне я не знал, что он боксер, я пытался его унизить, но тщетно, тщетно, это он меня унизил — я был унижен и в нескончающемся сне, и в неначавшейся яви. Сны алкоголика отделяет от яви картонная стена, ночью ему снится пережитое днем — точнее сказать, ночью алкоголику представляются его дневные бредовые видения. Я бродил, плавал, тонул в океане сорокаградусного спирта, просыпался весь в буром поту, смотрел на часы, было четыре утра, от циферблата несло горькой желудочной настойкой.

Восемнадцать раз я лежал в отделении для делирантов, и в конце концов доктор Гранада с высоты своего всевластия и своего атлетического телосложения распорядился, чтобы меня больше не принимали. Я был неизлечим — это, конечно, чепуха, никто неизлечим (и уж тем паче неизлечимы здоровые), но я не подавал никаких надежд, не проявлял воли к излечению, не хотел не пить.

Сложные, как квантовая механика, тесты, которыми запуганных пациентов терзали тишайшие и несгибаемые телом и духом ординаторши, выявили у меня суицидальные наклонности.

— Хотите допиться до смерти? — спросил доктор Гранада.

— Не скажу да, но и отрицать не стану, — ответил я, ибо ни при каких обстоятельствах не утрачивал способности изъясняться высоким слогом. Слишком поздно я понял, что это не дар, а проклятие. Любой телефонный разговор превращался в диалог, будто сошедший со страниц романа, любое приветствие — в поэтический афоризм, любой вопрос типа «который час?» — в театральную реплику. Мой жаждущий возведения на пьедестал, а то и бессмертия язык мною управлял. Я был во власти языка, я был во власти женщин, я был во власти спиртного.

— Если хотите допиться до смерти, зачем обременяете нас своей якобы отчаявшейся особой? Зачем утруждаете моих помощников? Зачем посещаете лекции и сеансы групповой психотерапии? Зачем пишете делирические исповеди и ведете дневник чувств? Какого черта сестра Виола колет ваши спавшиеся вены? Чего ради мы прокачиваем через ваше истощенное тело

гектолитры животворных растворов, если вы сознательно отгораживаетесь от всего животворного?

— Да я же не хочу умирать.

— Знаете, пан Е., по-моему, это звучит чересчур амбициозно.

— Я не хочу допиться до смерти — пока, во всяком случае, не хочу. Честно говоря, охотнее всего я бы упился насмерть, прожив долгую и счастливую жизнь.

— Вы рассуждаете как ребенок, как малое неразумное дитя.

— Ах, доктор, я знаю, я прекрасно знаю, что нельзя, тем более в моем случае, жить долго и счастливо, продолжая пить. Но как можно жить долго и счастливо, если не пьешь?

Мне вообще-то нравилось разговаривать с доктором Гранадой, хотя порой наши беседы превращались в кошмарную пустую говорильню. Пренеприятная это штука — ложь без внешних признаков лжи. Доктор Гранада произносил разумные, гладкие и на первый взгляд убедительные речи, достойные заведующего отделением для делирантов. Я усердно выдавал вульгарные парадоксы, словно желая наглядно доказать, что часть клеток моего мозга отмерла и их ме-

сто занимает бездействующая соединительная ткань, именуемая глией. Мы оба не касались сути вещей, оба отлично понимали, что не касаемся сути вещей, обоих нас удручала непостижимость сути вещей. Но как алкоголик, так и его врач, желающий проникнуть в суть вещей, попадают в очень трудную ситуацию. Шекспир коснулся сути вещей, Ньютон коснулся сути вещей. Толстой коснулся сути вещей, Эйнштейн коснулся сути вещей. А алкоголик? Алкоголику заведомо труднее.

— Как можно жить долго и счастливо, если не пить?

Я произносил эту идиотскую фразу, глумливо улыбаясь, и у меня немедленно возникало желание плюнуть прямо в свою растленную спиртным душу. Разумеется, мне было хорошо известно, что можно, да-да, можно не пить и жить долго и счастливо. Я лично знал людей, которые не пили и жили долго и счастливо. И даже если не знал их лично (потому что фактически никого счастливого я лично не знал и даже не желал знать; услыхав, что про кого-то говорят: вот этот счастлив, этому везет, этому удалась жизнь, — я от таких счастливчиков убегал, удирал, как от чумы), даже если я не знал их лично, их знали

другие, и даже если никто не знал, все равно эти счастливцы существовали. Были и есть. В конце концов, на алкоголиках свет клином не сошелся, алкоголики — маргиналы, преобладающая часть человечества не пьет. Хотя, в сущности, не очень понятно почему. Почему, в сущности, преобладающая часть человечества не пьет? По каким причинам? Приведу одну известную глубокомысленную сентенцию. Сентенцию-каденцию. Пьянство — тема настолько креативная, что в любую минуту может породить глубокомысленную сентенцию. Куда бы ни обратил ты лик свой, какую из троп, ведущих сквозь топи, ни выбрал, везде повстречать можешь ангела с огненным мечом, и речет тебе ангел (а голос его будет подобен шуму вод многих), и спросит: почему же ты не пьешь, брат мой? И если ты, брат мой, ответишь, что не пьешь, ибо не имеешь таковой потребности, или что не пьешь, ибо водка тебе не по вкусу, или, не дай бог, ответишь, что не нуждаешься в искусственных стимуляторах, или еще какую-нибудь сморозишь глупость, например, скажешь, что не пьешь, поскольку отлично обходишься без спиртного, если ты, грешный, в наивности своей, но и в бесстыдстве своем что-нибудь подобное скажешь, знай: тебя постигнет

суровое возмездие. А как сказано в Священном Писании: возмездие за грех — смерть.

Восемнадцать раз я лежал в отделении для делирантов, едва заметные шрамы после вшитых «торпед» украшают мое тело, как украшает хвойное дерево хвоя, моя печень источает неповторимый запах смеси духов, одеколонов и салицилового спирта, а ведь был в моей жизни не поддающийся объяснению период, когда и я говорил: я не пью, когда печень моя не пахла духами и кожа моя была гладкой. А почему же ты не пьешь, брат наш? — вопрошали сидящие у стойки братья мои, и злобны были они, и дух Венедикта Ерофеева витал над их головами, и их безвольные языки говорили его языком, и я набрасывал несколько строк под его влиянием и, воздав ему должное, освобождался от его влияния. Ибо даже самую классную литературу не сравнить с ошеломительной простотой собственных тревог. Почему же ты не пьешь, брат наш? — вопрошали сидящие у стойки. Не пью, отвечал я, потому что не испытываю желания, потому что вкуса не нахожу, не нуждаюсь в искусственных стимуляторах и отлично обхожусь без спиртного. Так отвечал я, и это было правдой, но только до поры до времени. Пока не пробивал

час триумфального кира. Пока я не заглядывал в пасть бездонного пузыря. Я расскажу об этом, когда придет время рассказать о триумфальном кире, бездонном пузыре и еще не тронутом стакане тяжелого, как набрякшие веки, напитка. По неподвижной его поверхности кружит воткнутый в ломтик лимона крохотный черный зонтик.

3. Доктор Гранада

— Знаете, пан Е., я абсолютно уверен, что ни один из полсотни лежащих сейчас в моем отделении орлов и ни одна из полдюжины орлиц уже не воспарят в небеса. Никто из вас не излечится, никто не бросит пить. Ни ваш сосед по палате Колумб Первооткрыватель, ни Шимон Сама Доброта, ни Дон Жуан Лопатка, ни Сахарный Король, ни Ударник Социалистического Труда, чей живой труп не далее как вчера вновь к нам пожаловал, ни Самый Неуловимый Террорист, ни Королева Красоты, ни Фанни Капельмейстер, ни Иоанна, ни Марианна — никто из вас, можно не сомневаться, пить не бросит. С вышеназванным почтенным ареопагом все понятно. Но и у дебютантов шансы практически нулевые; впрочем, даже тех, кто попал ко мне в первый раз, дебютантами не назовешь — большинство из них добились на своем творческом пути немалых успехов; настоящим же дебютантам, которые сейчас на скверике в своем микрорайоне откупоривают первую бутылку, в голову не приходит, что когда-нибудь они пополнят ряды заслуженных классиков.

Доктор Гранада поглядывал на мир одним глазом, второй глаз (а может быть, первый? Какой глаз первый, а какой — второй? Вот классический пример алкашеской сентенции; за рюмкой можно детально проработать самые разные ее варианты) — второй, то ли первый, глаз доктора был затянут бельмом; поверхностный этот дефект мог быть легко устранен коллегой-хирургом, однако доктор не только его не устранял, но буквально возводил свое одноглазие в культ — и правильно делал. Эта особенность наделяла доктора Гранаду харизмой вождя, в наших дырявых мозгах оживали смутные воспоминания, связанные с прочитанными в детстве книжками про пиратов, ни одна медсестра не могла устоять перед циклопизмом заведующего отделением — я давно заметил, что явная асимметрия мужской анатомии усиливает томное влечение женщин; в природе такого извращения, впрочем, без рюмки не разберешься, так что пока оставим это в стороне.

Доктор Гранада напоминал мне доктора Свободзичку из Вислы: тот же запах архаичного одеколона, внешнее сходство, бравурные фамилии, одинаково высокомерное отношение к миру, похоже, а может, даже точно так же звуча-

щий зычный голос («глас, с небес глаголющий»), склонность к замысловатым и сочным парадоксальным высказываниям, наконец, одноглазие. У одного левый глаз затянут белой пленкой, у другого в правой глазнице стеклянный протез. Я брежу, хотя не знаю, что такое «бредить». У меня страшный жар, я лежу в огромной, как трансатлантический лайнер, родительской кровати, ночник зажигается и гаснет, одноглазый доктор склоняется надо мной.

— Однако они еще цепляются за обманчивую надежду, многие охотно отдаются во власть собственных иллюзий, — голубизна в единственном глазу доктора Гранады густеет, как замороженный «Абсолют». — Они хотя бы верят, что больше не будут пить, свято убеждены, что впредь не выпьют ни одной рюмки, искренне себе это обещают. Но, конечно, не выдержат, когти порока рано или поздно сомкнутся на пересохших глотках; это сейчас, когда их вытащили с того света, они заделались абстинентами или, скажем, псевдоабстинентами и твердо знают, что пить нехорошо, и если, снова надравшись, сразу же не помрут, то — по крайней мере, некоторое время — будут вспоминать свою больничную или даже недолгую послебольничную трезвость. Будут

метаться, будут без толку метаться, выбирая: пить или не пить, но эти напрасные метания хотя бы засвидетельствуют о какой-никакой, пускай проигранной — ибо она проиграна, — схватке, каком-никаком движении. Их ждет нокаут, но на ринг они выйдут. А вы, пан Е., на ринг уже не выходите. Вы неподвижны, вы застряли в бутылке, как мошка в янтаре. Внутри у вас все выгорело. Остались одни пепелища, притом остывшие. Пожар загасили проливные дожди. Вроде бы вы сидите у меня в кабинете, вроде бы что-то говорите, порой даже складывается обманчивое впечатление, что говорите по делу, на вас все еще больничная пижама, но фактически вас здесь уже нет, вы уже в элегантном выходном костюме сидите на высоком табурете, вы уже пьете. Так-то, пан Е. В конце недели вы отсюда выйдете в отличной форме, нашпигованный витаминами, более-менее восполнив недостаток в организме магния, окрепнув и успокоившись благодаря укрепляющим и успокоительным препаратам, выйдете на своих ногах, поскольку мы, не помню уж в который раз, поставили вас на ноги, — и куда же вы направите свои послушные стопы? Надо ли мне спрашивать? Надо ли утруждать свой голос вопросительной интонацией? Вы пер-

вым делом отправитесь в ближайший кабак или в ближайший магазин, где торгуют спиртным.

Доктор Гранада был совершенно прав. Выйдя из отделения для делирантов, я неизменно направлял свои стопы в ближайший кабак или в ближайший магазин, где торгуют спиртным. Точнее, сперва я отправлялся в кабак, причем — чтобы уж совсем быть точным — вовсе не в ближайший, то есть ближайший, но по отношению к моей, покинутой моими женами, квартире на площади ООН. Да, я выходил из отделения для делирантов, шел на ближайшую стоянку такси и ехал на такси к своей двенадцатиэтажной башне; в своих краях я чувствовал себя увереннее — везде, как известно, хорошо, а дома лучше. И я входил в бар «Чаша ангела» и, для порядка, выпивал четыре по пятьдесят. Затем покупал в соседнем магазине бутылку водки и смело бросался в бой с безобразием, творящимся у меня дома. Ибо справиться с непрестанно усугубляющимся хаосом в покинутой моими женами квартире на трезвую голову я был не в состоянии, хотя и упорно пытался, будучи по природе своей педантом.

4. Полсотенная купюра

В отделении для делирантов вспыхнул спор о плагиате. Кстати, попав туда впервые, я понятия не имел, что переступаю порог дома творчества, вливаюсь в сообщество тружеников пера, писателей, без устали сочиняющих делирантские автобиографии, поверяющих страницам обыкновенных общих тетрадей, именуемых дневниками чувств, самые сокровенные мысли, в поте лица своего трудящихся над алкашескими исповедями. В первой половине дня делиранты писали либо часами, ожидая вдохновения, бродили по коридорам с распухавшими по мере пребывания в отделении манускриптами под мышкой, после обеда выслушивали наставления доктора Гранады, психотерапевта Моисея, он же Я, Спиритус, или ординаторш, посещали лекции и сеансы групповой психотерапии, а по вечерам собирались на авторские чтения, после которых завязывались жаркие дискуссии. Во время одной из таких дискуссий многочисленная публика обвинила делирантку Марианну в том, что ее только что заслушанная исповедь поразительно

похожа на прочитанную неделю назад исповедь делирантки Иоанны. Поскольку обе стороны избрали для защиты метод взаимных оскорблений, решить проблему, кто у кого списал видения пьяной ночи: делирантка Марианна у делирантки Иоанны или наоборот, — оказалось не так-то просто. Сообщество делирантов единогласно потребовало очной ставки: пускай на следующий день обе прочитают свои работы; затем, после обсуждения, можно будет путем голосования вынести вердикт.

Сочинение делирантки Марианны звучало примерно так:

> «Было это 21 декабря 1985 года. Я проснулась в середине ночи. С похмелья меня жутко мутило, я была мокрая от пота и вся тряслась. Денег у меня не было ни гроша. Я знала, что у спящего в соседней комнате мужа деньги есть. Я прокралась туда, обыскала его костюм и в заднем кармане брюк нашла бумажник. Вынув из него пятьдесят злотых, я по-тихому оделась и пошла в ночной магазин, до которого было рукой подать. В магазине я купила шампанское, которое принесла домой. В

кухне, не зажигая света — там и без того было светло, потому что мы живем на первом этаже и прямо за окном у нас неоновая уличная реклама, — я открыла это шампанское, хотя все время боялась, что пробка выстрелит и выстрел разбудит спящего мужа. Но мне повезло, я открыла бутылку бесшумно и за полчаса все выпила. И почувствовала себя гораздо лучше. Во мне появилась характерная отвага, и, уже не соблюдая осторожности и даже нагло включив в прихожей свет, я смело вышла из дома, чтобы выбросить бутылку на помойку. По дороге, однако, мне стукнуло в голову, что неплохо бы сделать запас на остаток ночи, а поскольку деньги я истратила не полностью, снова отправилась в ночной магазин и купила четвертинку белой. На этот раз, вернувшись домой, я опять пошла на кухню, хотя пить там не собиралась. Достала из буфета пол-литровую бутылку малинового сока, который сама приготовила летом из произрастающей на нашем садовом участке малины. Половину сока вылила в раковину, а к оставшейся половине через

воронку добавила закупленную в ночном магазине водку. Правда, не целую четвертинку, потому что, пока я выливала сок в раковину, мне стало грустно и, еще до приготовления смеси, я отпила приличный глоток прямо из горла. Бутылку я несколько раз хорошенько встряхнула, чтобы водка хорошенько перемешалась с соком и казалось, что в бутылке чистый сок. Ведь я собиралась взять ее в комнату, лечь и отхлебывать, лежа в кровати. Я знала: это мне поможет, я буду хорошо спать, а когда проснусь, смогу для оттяжки в любую минуту выпить. Однако я учитывала, что могу крепко заснуть, и хотела, на всякий случай, чтобы муж, если проснется раньше и застанет около моей кровати бутылку, подумал, что это чистый сок. Пустую четвертинку я на помойку выносить не стала, спрятала за диван. И легла; время от времени, правда, просыпалась, но сразу отпивала глоток, и всю ночь мне было хорошо. Утром муж, хоть и не заметил ни бутылок, ни того, что мне пришлось ночью выходить, покупать и пить спиртное, зато заметил

отсутствие в бумажнике пятидесяти злотых и начал громко предъявлять претензии. Поскольку меня опять мучило жуткое, подбивающее на агрессию похмелье, я устроила кабацкий скандал, оделась, собрала кое-какие вещи, и так начались мои скитания, которые, честно говоря, были сплошной беспробудной пьянкой».

Марианна прочла свое сочинение срывающимся голосом, поминутно утирая притворные, а может и настоящие, слезы: всеми доступными способами она давала понять, что это ее обокрали, что это у нее Иоанна все списала.

— Мне очень обидно, — сказала она в заключение, — что у меня украли мою жизнь. Сейчас я услышу краденое и уж не знаю, переживу ли. — На этот раз голос ее задрожал совершенно непроизвольно, и она разрыдалась, теперь, вне всяких сомнений, по-настоящему.

Но ее противница повела себя аналогично.

— Это у меня своровали мою жизнь, — сказала Иоанна, — и пока я слушала, как тут самым нахальным образом читают про мою присвоенную жизнь, я думала, что умру на месте.

Свою алкогольную исповедь она читала точь-в-точь как Марианна, у нее точно так же срывался голос, она точно так же утирала притворные, а может и настоящие, слезы; больше того, словно для усугубления гротескной симметрии обе утирали слезы одинаковыми платочками с бледно-розовыми кружавчиками.

Версия Иоанны звучала примерно так:

«Было это в середине ноября 1997 года. Я проснулась в три часа ночи в жутком состоянии. Бодун был страшный, что неудивительно, так как накануне я целый день пила. Меня всю колотило, и я была мокрая от пота. Я знала, что денег у меня нисколько. Жила я тогда с сестрой и ее мужем и догадывалась, что у зятя есть деньги. Зять почти совсем не пил и всегда был при деньгах.

Осторожно, чтобы их не разбудить, я открыла дверь к ним в комнату и вошла на цыпочках. Зять аккуратно вешал одежду в шкаф, и я знала, что там и надо искать. Однако я боялась, что, когда буду открывать шкаф, дверца может заскрипеть, и тогда проснется или сестра, или зять,

или оба разом проснутся. Но мне повезло, шкаф открылся бесшумно. В кармане одного из висящих пиджаков зятя я нащупала бумажник. Не вынимая бумажник из кармана, я вслепую вытащила купюру. Я не знала, какая это купюра, и боялась, что ее номинал окажется слишком низким. Однако, когда я вернулась в свою комнату и проверила, оказалось, что мне удалось вытащить целую сотню, что меня даже обрадовало, но и слегка напугало; денег, правда, у меня теперь было выше крыши, но одновременно возникало опасение, что зять заметит отсутствие настолько внушительной суммы. В растерянности я, однако, пребывала недолго, вариант вернуться к ним в комнату, положить обратно в зятев бумажник сотенную купюру и попытаться найти что-нибудь помельче я даже не рассматривала. Тихонько одевшись, я вышла из квартиры и на лифте спустилась на первый этаж — так уж совпало, что в нашей башне на первом этаже ночной магазин. Я вошла туда и купила шампанское. Поскольку терпеть уже было невмоготу и поскольку

ку я боялась, что, когда стану открывать дома шампанское, пробка выстрелит и разбудит спящих домочадцев, бутылку я открыла у двери лифта. Мои опасения были напрасны: пробка не выстрелила. Я села в лифт и нажала все двенадцать кнопок, так как мы живем на двенадцатом этаже. Благодаря этому лифт поминутно останавливался, и я на протяжении всего долгого, прерываемого частыми остановками подъема пила шампанское. Но пила, наверно, чересчур жадно, потому что, когда лифт наконец дополз до двенадцатого этажа, оказалось, что шампанского в бутылке уже на донышке. Поскольку денег оставалось еще много, а выпитые пузырьки меня здорово разохотили, я решила прикупить спиртного про запас. Снова спустилась вниз и снова вошла в ночной магазин.

На этот раз я взяла две четвертинки белой. Одну я намеревалась спрятать на черный день, а вторую смешать с кока-колой, пол-литровую бутылку которой я тоже купила. По возвращении домой я продолжала соблюдать осторожность,

но чувствовала себя гораздо свободнее. Часть кока-колы я выпила, часть вылила в раковину: я старалась так рассчитать, чтобы в бутылке осталась ровно половина, что мне полностью удалось. К оставшейся кока-коле я добавила четвертинку водки, чтобы казалось, будто я пью чистую колу. Пустую водочную бутылку спрятала за холодильник. Эта как бы кола, которую я собиралась поставить около своей диван-кровати, выглядела бледновато, но меня это не напрягало: зять был помешан на здоровом питании, не пил никаких газированных напитков и наверняка не знал толком, какая на вкус и на цвет настоящая кола. Сестры я не боялась, зная, что в случае чего она встанет на мою сторону или, по крайней мере, меня прикроет. Я легла и, отхлебывая из бутылки в минуты пробуждения, хорошо спала практически целую ночь. Утром, хотя оказалось, что зять не заметил ни отсутствия сотенной купюры, ни странноватого цвета колы, которой, впрочем, осталось всего ничего, сестра на ровном месте устроила мне скандал. Сло-

ва не сказав, я собралась и покинула этот негостеприимный дом. Я была спокойна, у меня оставалось еще около сорока злотых, а на дне сумки лежала четвертинка.

Не знаю, куда меня понесло, не знаю, долго ли продолжался запой, не знаю, как я здесь очутилась. Так или иначе, сейчас я изо всех сил хочу бросить пить».

К дискуссии, развернувшейся после выступления авторов и, вопреки ожиданиям, протекавшей довольно вяло, я прислушивался с замиранием сердца. Самый Неуловимый Террорист взял сторону Иоанны, Королева Красоты — Марианны. Сестра Виола подчеркивала, что списывание, во-первых, никоим образом не способствует излечению, а во-вторых, неэтично. Колумб Первооткрыватель утверждал, что списывать, конечно, плохо, но, быть может, и что-то хорошее в этом есть: авторы, хоть и неосознанно, руководствовались добрыми намерениями — не исключено, что они распознали поразительное сходство своих приключений и общность судеб. Доктор Гранада и психотерапевт Моисей, он же Я, Спиритус, молчали.

— В восемьдесят пятом году никак нельзя было

купить пузырь за полсотни, — отозвался под конец сидевший у стены Дон Жуан Лопатка, тем самым вроде как предлагая разрешить спор в пользу Иоанны.

Я с замиранием сердца выслушал мнения собравшихся, но ничего не сказал, хотя должен был, безусловно должен был, просто был обязан, с какой стороны ни глянь, взять слово — ведь это я был автором обеих спорных работ.

Когда меня привезли в отделение для делирантов, на мне была провонявшая блевотиной рубашка и пригодные только для публичного сожжения в котельной брюки. При себе я не имел ни одного злотого, ни одной сигареты, у меня не было ни белья, ни мыла, ни зубной щетки, ничего. Однако, если не через неделю, то уж точно через две я начал обрастать разным добром. Теперь, по прошествии шести месяцев (за вычетом перерывов, после которых я сюда в беспамятстве возвращался), на мне элегантный, цвета травы спортивный костюм. В верхнем кармашке позвякивают пятаки, тумбочка завалена бананами, апельсинами, шоколадными конфетами и прочими лакомствами. Открывая ящик, я вижу поистине беспредельный запас сигарет. Каждая шоколадка, каждый пятак, каждая банка анана-

сового компота — эквивалент по крайней мере одной написанной мною делирантской исповеди или одного дневника чувств.

Когда по отделению разнеслась весть (а разнеслась она молниеносно или, скажем, со скоростью выпущенной из лука стрелы), что на гражданке я занимаюсь сочинительством, не слишком искусные по письменной части делиранты стали дружно обращаться ко мне за — небескорыстной, разумеется, — помощью. И я им помогал — с чистой, надо сказать, совестью. Я не столько за них писал, сколько переносил на бумагу их речи. (Конечно, бывали случаи, когда приходилось кое-что менять: в случае Самого Неуловимого Террориста, например, я вынужден был написать все от «а» до «я», — но, как правило, я писал под их бессознательную диктовку. Они рассказывали истории из своей жизни, я же, внося только мелкие стилистические поправки, практически слово в слово записывал все, что они говорили.) В конце концов, нет большого секрета — ни литературного, ни экзистенциального — в том, что говорить умеют все, а записывать свои речи способен далеко не каждый. Да, порой я искажал их чересчур гладкие фразы, добиваясь необходимой для правдоподобия шероховатости, но если по-

добная стилизация для кого-то что-то и значила, так этим человеком был я, а не они.

Иными словами, я не был писателем, сочиняющим в отделении для делирантов подписываемые чужими фамилиями тексты. Я был секретарем чужих умов. Как Иоанна, так и Марианна продиктовали мне свои ночные кошмары, я же — уверен — записал эти кошмары буквально. И уверен, что об извлеченной из мужнина кармана полсотенной купюре Марианна говорила с искренним волнением, ничего не придумывая и все еще продолжая испытывать страх.

5. Пролегомены идеального порядка

Говорят, чрезмерная любовь к порядку свидетельствует об отвратительном состоянии нервной системы — в моем случае так оно и есть: и любовь к порядку у меня чрезмерная, и нервы никуда. Предметы без устали меня атакуют, я вынужден сопротивляться, рано или поздно это превращается в бесплодную борьбу с ветряными мельницами, но на короткий срок, на скромной площади в сорок восемь квадратных метров (две комнаты с кухней) их все же удается приструнить. Беда в другом: сплошь и рядом просто забываешь, куда чего кладешь. Не подумайте, будто я чванливо и лицемерно утверждаю, что погруженному в размышления о высоких материях уму не до мелочей, что постоянно думать о мелочах вредно; я так не говорю, хотя, возможно, это чистая правда, я так не говорю, хотя почти наверняка это чистая правда. Можно ли считать яблоко, упавшее на голову Исаака Ньютона, мелочью? Космическая мелочь, скажете? Да других и не существует. Сто тысяч бочек арестантов!

Не нужно призывать законы мироздания на защиту вечно теряющихся зажигалок, кошельков, документов, перьевых и шариковых авторучек, рукописей, книжек, носков, пепельниц, шарфов, перчаток und so weiter[2]. Так же, как не нужно в этой связи — в связи с безобразным поведением вещей — ссылаться на «размышления о высоких материях». Постоянная сосредоточенность на мелочах необязательно должна нарушать ход «размышлений о высоких материях», достаточно, что она нарушает повседневные размышления, и не просто нарушает, а разрушает — если мыслишь целыми фразами. Я, к примеру, мыслю целыми фразами. Скажу больше: я еще жив благодаря тому, что, проявляя отчаянное упорство, мыслю целыми фразами. И не сочтите это графоманским тренингом, хотя для литератора нет ничего важнее умения мыслить целыми фразами. С пронзительной печалью я думаю о той минуте, когда последние абзацы, фразы, фрагменты фраз выветрятся из моей головы и там останутся лишь неразборчивые каракули, призраки названий, миражи. Это конец. Иронический выбор между слабоумием и смертью

[2] Примечания: 2
И так далее *(нем.)*.

ни в малейшей степени меня не привлекает.

Когда думаешь — пускай только короткими, простыми, нераспространенными, но все же целыми предложениями, — нельзя одновременно думать о мелочах, например, о том, куда ты положил ключи. Ключи должны лежать на своем месте. Возможно, плодом неустанной работы над фразами о пропавших ключах могли бы стать захватывающие литературные произведения для избранных, но захватывающие литературные произведения для избранных следует выдавать дозировано. Ключи должны лежать на своем месте. Ключи должны лежать на своем месте? Боже мой. Боже правый. Ты, который все для меня делаешь, скажи: неужели ради этого я изливаю на бумагу свое отчаяние? Неужели ради этого часами просиживаю с пером в руке? Ради того, чтобы мой изощренный мозг открыл ньютонову истину, что ключи должны лежать на своем месте? Ради такой истины я загубил свою жизнь? Ради такой истины у меня дрожат руки и разрушается печень? Ради такой истины я опустился на дно бездны? Однако, с другой стороны, ключи должны лежать на месте. Если бы Ася Катастрофа клала ключи на место, я бы ее любил, она была бы любовью всей моей жизни, любовью до гроба,

мы всегда были бы вместе.

6. Ася Катастрофа

Ася Катастрофа была красивая, умная и высокая. Сплошные достоинства. Кроме того — что для меня имеет первостепенное значение, — она классно одевалась и пользовалась классной косметикой. Но… Ася Катастрофа входила в квартиру и — шмяк пальтишко, шмяк сапожки, шмяк сумочка. После пятнадцатиминутного пребывания Аси на моей территории (занимаемая ею территория — девичий покой в загородной вилле — описанию не поддается), на моей территории начинался… Я чуть было не написал «апокалипсис», но удержался: во-первых, это прозвучало бы, на мой вкус, чересчур остроумно — «апокалипсис после катастрофы»; во-вторых, было бы неправдой, начинался не апокалипсис, начинался карнавал, что в тыщу раз хуже апокалипсиса, после апокалипсиса, скорее всего, нечего было бы убирать, а после нашествия Аси Катастрофы я и принадлежащие мне предметы приходили в себя очень долго.

Шмяк шарфик, шмяк шейный платок, шмяк чашка, шмяк блузка, шмяк газета, шмяк книжка,

шмяк юбка… «Ася, — терпеливо объяснял я, — свобода не означает, что выходные туфельки следует бросать посреди комнаты».

Если бы это свидетельствовало исключительно о хищной чувственности — тогда б еще полбеды. Наши изголодавшиеся тела накидываются друг на друга, срывают одежду, и — как во французском или американском фильме о любви: разбросанные по пушистому изумрудному ковру туфельки, платье, колготки, рубашка, черные джинсы, кружевные трусики и семейные трусы обозначают путь, ведущий к голливудской кровати. Увы, Ася устраивала вокруг себя хаос не только на пути в кровать, как раз на пути в кровать она устраивала (мы устраивали) меньший хаос, наша чувственность была хищной, но, поскольку нам обоим были известны законы искусства, мы, в целях обострения чувственности, умеряли ее хищность — первое правило: никакой спешки. Так ли, сяк ли, целые сутки, то есть целую вечность выходные туфельки — посреди комнаты. А также пряжка для волос, пепельница, старинная молочная бутылка, карандаш для бровей, шампунь «Пальмолив», вчерашняя «Газета выборча», влажное полотенце, обертка от плитки молочного шоколада, упаковка от чипсов, упа-

ковки от всего, всё.

Ах, Ася Катастрофа была не лыком шита и отлично знала, что свобода не означает, будто выходные туфельки следует бросать посреди комнаты, с Асей о понятии «свобода», а также о многих иных понятиях можно было вести долгие интересные разговоры. Ася изучала экономику и изящные искусства, Ася была из очень хорошей семьи. Отец — директор элитарной гимназии, по образованию историк, а также — как выяснилось после падения коммунизма — владелец домов и земельных участков; мать — зубной врач с многолетним стажем и кабинетом в центре Старого города, элегантная, ухоженная, удручающе соблазнительная в своей перезрелости.

Не могу сказать, что во время одного-единственного воскресного обеда в загородной резиденции семейства Катастрофа совесть у меня была чиста. Какое там чиста! — совесть моя была очень даже нечиста, я был нечист как боров и голоден как волк. Все, что ни подавали на стол, я пожирал с волчьим аппетитом и по-волчьи пожирал глазами особу, которая чуть не стала моей тещей: на ней было желтое воздушное платье, а желтые платья всегда действуют на меня ошеломляюще. Я ел бульон с клецками, заливной телячий язык,

жаркое из телятины по-охотничьи, фруктовый салат, мороженое, ел и наступал на горло рвущейся из меня разнузданной песне. Я был тогда в фантастической форме, я вообще не пил, не пил ничего, кроме минеральной воды без газа (при коммунизме минеральной воды без газа не было), не выпил ни капли вина за обедом, ни наперстка ликера за десертом, поданный к кофе коньяк даже не пригубил, а пополудни, естественно, отказался от предложенного хозяином дома стаканчика «Джека Дэниэлса». Я вообще не пил, и меня это нисколько не угнетало, я был в отличной форме, слушал, говорил, сдерживал развивающийся в уме сюжет порнографической новеллы об интимных отношениях с матерью и дочерью разом — однако сдерживал не настолько, чтобы он совсем угас, сдерживал ровно настолько, чтобы он не вытеснял прочие мысли, а тлел на их фоне. Я принимал живое участие в беседе и с неподдельным интересом выслушивал суждения хозяев, свидетельствующие об их, весьма, кстати, обширных, литературных познаниях. Пан Катастрофа — немецкоязычная литература, предпочтительно австрийцы XX века; пани Катастрофа — латиноамериканская литература без особых предпочтений; Ася — русская и амери-

канская литература, в первую очередь Владимир Набоков. Я слушал, говорил, по поводу Набокова высказал очень смелую (в моем положении) мысль о том, что дьявольская, темная проницательность этого писателя и блестящее владение бесстрастной формой идеально предрасполагали к беллетризованному изложению результатов исследования известного порока; к сожалению, добавил я с фривольностью эрудита, слухи о тяжелейшем алкоголизме писателя оказались ложными. Я слушал, говорил, признавался в своих литературных пристрастиях, а потом, когда смерилось, оказался в Асином девичьем покое.

— Видишь, как замечательно я убралась, — шептала Ася, — это для тебя, для тебя я навела порядок.

Действительно, в комнате царила настораживающая, противная не только Асиной, но и вообще человеческой натуре симметрия; невооруженным глазом было видно, что здесь возведен показушный, потемкинский монумент образцового порядка, который того и гляди рухнет.

— Ася, я люблю тебя в хаосе, люблю тебя среди твоих разбросанных вещей.

Но Ася, явно окрыленная приобщением к ново-

му для нее искусству гармоничного размещения предметов, пропустила мимо ушей мое признание, а может быть, не поняла его поэтической глубины.

— Даже ключи, — шептала она с ребячьим пылом, — даже ключи я теперь кладу на место. И сегодня утром, представь, сегодня утром я не могла их найти — не могла найти ключи, так как забыла, что положила их на место.

Я чувствовал, как от волнения у меня перехватывает горло — меня взволновала реальная перспектива провести остаток дней своих с Асей Катастрофой.

— Я тебя Люблю, — повторил я, — я тебя люблю независимо оттого, куда ты кладешь ключи.

— Пойдем, — сказала Ася и взяла меня за руку, и повела по лестнице на второй этаж, и открыла дверь в глубине коридора. Я увидел еще не обставленную комнату с белыми стенами; там было светло и тихо. Из окна открывался вид, о котором может только мечтать графоман: внизу лежал остывающий город, над ним сгущались массы знойного воздуха, переулки зарастали азиатской травой темноты, в далеких окнах загорались первые огни.

— Здесь у тебя будет свое кресло, свои стелла-

жи, книги и письменный стол, здесь ты сможешь писать, — сказала Ася, а я понял, что грядет великая и неотвратимая перемена, которую я с давних пор ждал и в осуществимости которой с годами начал сомневаться. Я понял, что отныне жизнь моя изменится и исправится, и нежно, будто душу, дарующую новую жизнь, нежно и осторожно заключил Асю в объятия.

А потом, уже ночью, когда все взрослые давно спали и в нашей части земного шара погасли почти все огни, я вызвал по телефону такси (при коммунизме радиотакси не было), сладко зевающая Ася проводила меня до садовой калитки, за которой уже ждал белый «мерседес», спи спокойно, Ася. Такси ехало по темному пригороду, с обеих сторон — пустые поля, непрочные стены домов, я готов был обнять весь мир, мне понравилось даже то, что за мной приехал не какой-нибудь там «фиат», а белый «мерседес».

Я сидел, удобно развалившись, и высматривал освещенные окна — меня всегда притягивали окна, в которых поздней ночью горел свет, кто-то ночь напролет читал главную книгу своей жизни, кто-то умирал, кто-то задыхался от страшного кашля, кто-то просыпался с криком от кошмарного сна, кто-то кого-то обнимал, кто-то принимал

успокоительное, кто-то плакал от тоски, кто-то шел в туалет. Я посмотрел на часы, было три утра, созвездия наверху перемещались как зыбучие пески, мы на минутку остановились перед круглосуточно работающим магазином и вот уже ехали дальше по пустой мостовой. В моей темной башне никто не бодрствовал, никто не умирал, никто не читал захватывающую книгу, но то были последние мгновенья всеобщего сна: сейчас на двенадцатом этаже загорится свет. И загорелся свет на двенадцатом этаже, и горел непрерывно сорок дней и сорок ночей, и сорок дней и ночей я непрерывно пил. Над моим бесчувственным телом светила лампочка, занимались зори, опускались сумерки, моя бесчувственная рука тянулась к бутылке и вливала водку в бесчувственное горло, постельное белье и кожа зарастали хитиновым панцирем блевотины, разруха поселилась в доме моем. Господи, беспорядок, который устраивала Ася Катастрофа, был образцовым порядком по сравнению с тем, что учинял я, когда ползал на четвереньках в поисках припрятанной на черный день бутылки (содержимое которой давно кануло в оцепенелое нутро, черный день давно миновал, и все последующие дни тоже были черными, один

чернее другого) или когда в смутном проблеске сознания дополз до телефона, чтобы сделать ритуальный заказ. Мне, пожалуйста, две бутылки абрикосовой палинки и большую кока-колу. Диктую адрес. При коммунизме системы заказов по телефону не было.

7. Начало

Начало, самое начало, начало, представленное таким крупным планом, что изображение становится зернистым, начало данного или, честно говоря, любого другого пития, а стало быть, пития универсального, начало пития вневременного, начало всепития, начало Священной Книги пития таково: земля была безвидна и дух носился над водою, и я расплатился с таксистом, и вылез из такси, и по пути к лифту сто раз проверил, надежно ли висит сумка на плече, и поднялся на лифте на двенадцатый этаж, и повернул ключ в замке, и зажег свет — настенные часы показывали семнадцать минут четвертого. Я резко ускорил шаг, да, две комнаты с кухней я пересек очень быстрым шагом, я очень спешил, и все мои движения были очень стремительными, не то чтоб у меня было мало времени, времени было предостаточно, но меня явно одолевали тягостные сомнения: не скажу ради красного словца, будто из всех углов полезли демоны сомнений (что, впрочем, недалеко от правды), нет, это было бы чересчур, но воздух вокруг безусловно

стал плотнее, темней и вроде бы желтее, да, да, плотнее, темней и желтее, в конце концов, даже трезвенникам известно выражение «удушающая атмосфера», в конце концов, даже трезвенникам порой не хватает воздуха, и они начинают учащенно дышать и производят судорожные движения, словно пытаясь разорвать затягивающуюся петлю, словно отгоняя необходимость принять решение. В последние секунды моего трезвого существования имело место аналогичное, но стократ более мучительное явление. Мне не было душно — я задыхался. Я не делал резких или судорожных движений — я метался как безумец. При этом, как ни странно, я действовал логично, в моем безумии присутствовала холодная рассудочность, безумной была скорость всех моих движений, я в безумном темпе, но попрежнему с крайней осторожностью ставил на письменный стол сумку, открывал ее и доставал то, что там было, приготавливал стаканы, пепельницу, молниеносно переодевался в удобный и теплый тренировочный костюм… да, еще можно было погасить уже на славу разгоревшийся огонь, еще можно было обе купленные в круглосуточном магазине бутылки вылить в раковину, выбросить в мусоропровод и даже вышвырнуть в

открытое окно, однако именно эта возможность, тень этой возможности несказанно драматизировала ситуацию, ибо речь не шла о том, что у меня еще есть выбор: пить или не пить, — нет, такого выбора у меня давно уже не было (честно говоря, такого выбора не было по меньшей мере лет двадцать), однако ничто не мешало мне и дальше притворяться, что такой выбор есть, лицемерно изображать растерянность и не столько колебаться между питием и непитием, сколько — уже зная, что непитию, в общем-то, пришел конец — удлинять мучительный путь к питию. Я метался и — поверьте — еще думал, что не стану пить, но думал так, как человек, который наверняка не покончит самоубийством, думает о самоубийстве: подсказанные богатым воображением картины не имеют ничего общего с реальностью. Можно часто думать о самоубийстве, можно вновь и вновь представлять себе разные мелкие подробности, отчетливо видеть собственный, свисающий со стропила труп, в глубине души зная, что ты этого не сделаешь. Да. В глубине души я знал, чего не сделаю, и знал, что сделаю. Если бы я совершил иной выбор, если бы, не дай бог, обе купленные в круглосуточном магазине бутылки вылил в раковину или вы-

швырнул в окно, чего бы я своим греховным и фарисейским поступком добился? Да ничего. Мне бы пришлось снимать удобный и теплый домашний наряд, наново одеваться, наново надевать туфли и выходной костюм, в котором я предстал перед родителями Аси Катастрофы, идти пешком или ехать на такси в тот же самый или другой круглосуточный магазин, а дальше было бы еще хуже: злясь на себя за то, что, поддавшись искушению, я совершил греховный и фарисейский поступок, в результате чего прибавил себе хлопот, злясь на окружающие меня со всех сторон ложь и лицемерие, я купил бы не две, а четыре бутылки водки и опять же пешком или на такси, опять по сто раз проверяя, надежно ли висит на плече потяжелевшая сумка, вернулся домой, поднялся на лифте на двенадцатый этаж, повернул ключ в замке и зажег свет. Игра в мнимое повторение возможных, хотя по сути абсолютно невероятных поступков могла бы продолжаться до бесконечности: вылив в раковину или вышвырнув в окно все четыре бутылки, я мог бы еще раз шаг за шагом проделать знакомый путь, и еще раз, и еще; этому идиотскому ребячеству пора было решительно положить конец, пора было по-мужски посмотреть правде в глаза, а

правда состояла не в том, чтобы вылить бутылку в раковину или выбросить за окно, — правда состояла в том, чтобы открыть бутылку и выпить. Я двигался с необычайной быстротой, стремясь как можно скорее достигнуть цели: влить в себя первую порцию правды и задушить мучительную риторику. Как можно скорее покончить с рождаемой разумом литературой вечных сомнений, отдав предпочтение не знающей колебаний жизни с отключенным сознанием.

8. Колумб Первооткрыватель

Всегда под конец пребывания в отделении для делирантов я создавал вокруг себя некий порядок, и, хоть это и был порядок закрытого отделения, его можно было считать переходным этапом от порядка закрытого отделения к беспорядку открытого на все четыре стороны мира, ну а если говорить по-человечески, я просто не мог вернуться из больницы домой, не подкрепившись парочкой стопарей.

— Типичный стресс выхода, — сказал бы доктор Гранада, — вы не в состоянии одолеть стресс выхода. Вроде бы выходите в хорошей форме, но не в состоянии справиться со стрессом выхода.

Действительно, я не в состоянии был справиться со стрессом выхода и потому старался свести оный стресс к минимуму. Поездка на такси из отделения для делирантов занимала около двадцати минут, зато потом, после этой томительной поездки, после того, как я выпивал укрепляющие четыре по пятьдесят и запасался еще бутылкой впрок, стресс выхода как рукой снимало, вообще никакого больше стресса я не испытывал, а

если начинал чуть хуже себя чувствовать, прикладывался к бутылке, и самочувствие сразу улучшалось — вот и все, вот вам и вся философия пития.

— Нет никакой философии пития, — мой сосед по палате Колумб Первооткрыватель поворачивался на койке, снимал очки, откладывал на тумбочку французский перевод Нового Завета и повторял с привычным раздражением уставшего талдычить одно и то же лектора: — Нет никакой философии пития, есть только методика пития.

Колумб Первооткрыватель по меньшей мере лет двадцать преодолевал вплавь море тьмы. Стоило ему хлебнуть хотя бы пятьдесят грамм бескрайнего простора океанических вод, как он погружался в убийственный, бесконечный запой. Две недели назад его привезли в агональном состоянии — даже не к нам, в отделение для делирантов, а этажом ниже, в реанимацию, и с трудом, практически чудом вытащили сперва из запоя, а затем из эпилепсии. Теперь Колумб Первооткрыватель уже более-менее пришел в себя. Днем он с французским переводом Нового Завета под мышкой прогуливался по коридору и как речами своими, так и поступками давал понять, что его решительно не удовлетворяет

уровень заведения, куда он попал, дабы немного подлатать надорванный организм.

А по ночам его беспомощному телу никак не удавалось принять стабильную позу, мышцы ног и рук, из которых был начисто вымыт магний, судорожно подергивались. Даже будучи намертво усыплен лошадиными дозами геминеврина, я внезапно просыпался. Колумб Первооткрыватель корчился на койке — и если попытаться с чем-то сравнить эти корчи, то больше всего они смахивали на предсмертные судороги. Я не сомневался, что он умирает, так это, во всяком случае, выглядело и даже, пожалуй, еще хуже выглядело, предсмертным судорогам надлежит быть более плавными.

Я вызывал врача и медсестру, сестра Виола вкалывала несчастному магний и разные минералы, запихивала в рот витамины и успокоительные, доктор Гранада склонялся над тщетно пытающимся сдержать трясучку Колумбом Первооткрывателем:

— Как себя чувствуете, профессор?

Колумб Первооткрыватель в своей трезвой ипостаси, между запоями, так сказать, на гражданке, по окончании алкогольных сборов, по завершении водочного призыва (ах, какие вели-

колепные пирамиды потрясающих спиртуозных метафор способен ты возводить, мой заплетающийся язык!), Колумб Первооткрыватель в повседневной жизни был профессором общественных наук. Он поднялся на высшую ступень университетской иерархической лестницы, несколько лет преподавал за границей, говорил на западных языках и со всей ответственностью просвещенного ученого мужа, со всей принципиальностью человека, годами вещающего ex cathedra, утверждал, что у него с питием нет ни малейших проблем.

— Как себя чувствуете, профессор?

— Превосходно, превосходно, — бормотал Колумб Первооткрыватель, — превосходно, все в порядке, это так, минутная слабость.

— А как вы полагаете, откуда она, эта минутная слабость, с чем связана?

— Честно говоря, понятия не имею — может быть, перетрудился, устал, очень уж много дел было в последнее время.

Заспанная, вырванная из неглубокого дежурного сна, хотя уже бесстрастно, профессионально сноровистая сестра Виола еще не утратила привлекательность внезапно разбуженной женщины; от уголков рта к ее потрясающим скулам

метнулась едва заметная тень не то улыбки, не то омерзения.

— А не считаете ли вы, профессор, — в голосе доктора Гранады не ощущалось ни иронии, ни двусмысленности, — не считаете ли вы, профессор, что ваше состояние позволительно связать с некоторым… ну, скажем, злоупотреблением алкоголем?

— Нет, нет, это абсолютно исключено, я вообще почти не пью, разве что иногда, по случаю, за здоровье… ну, или стакан хорошего пива к обеду…

— То есть, если я вас правильно понял, — на ясном небосводе голоса доктора Гранады начинали собираться грозовые тучи, — ваше пребывание в лечебнице, ваше плохое самочувствие никоим образом не связано с алкоголем?

— Никоим образом, — поспешно, однако уже с меньшей уверенностью подтверждал Колумб Первооткрыватель, — никоим образом, — повторял он якобы после некоторого размышления, пытаясь изобразить на лице работу мысли, — хотя… хотя… припоминаю… — Тело его помалу справлялось с судорогами, и он всем своим видом давал понять, что готов пойти на небольшие уступки.

— Что именно вы припоминаете, профессор?

— Да, да, припоминаю, кажется, и вправду на последнем семейном торжестве я выпил одну лишнюю рюмочку.

— Ваш диагноз поражает меня своей точностью, — спокойно произносил доктор Гранада и без малейшей паузы разражался яростным воплем: — Лишнюю рюмочку! Он выпил одну лишнюю рюмочку! Ходячая бочка спирта выпила одну лишнюю рюмочку! Он признался, что, возможно, чуточку перебрал!

Сестра Виола ловким, отрепетированным на тысячах перевозбужденных пациентах движением крепко обнимала доктора за талию и вела к двери, он же продолжал вопить как оглашенный:

— Рюмочку лишнюю выпил! Неслыханная сенсация! Открытие Америки! Америку он открыл! Колумб ты наш Первооткрыватель!

9. Принцип неопределенности

Меня не раздражало лицемерие Колумба Первооткрывателя, нельзя пить от души не лицемеря, уста должны клеймить жидкость, орошающую горло. Господь явно дал поблажку пропойцам: недаром на каменных скрижалях не начертана заповедь «не солги». Слово должно воевать с пороком. Ложь в отличие от правды у племени делирантов в чести; на первых порах правда равнозначна бестактности, затем оскорбительна и в конце концов становится знаком отчаяния. Если ты по-настоящему пьешь, изволь на всех углах трубить, что не пьешь, если же сознаёшься, что пьешь, значит, ты пьешь не по-настоящему. Истинное беспробудное пьянство должно быть закамуфлировано, кто открывается — капитулирует, признает свою беспомощность, и ему остается только лить слезы, скрежетать зубами да посещать собрания Общества анонимных алкоголиков.

Сколько бы раз я ни объявлял, что бросил пить, что больше не пью, что после десятилетий пьянства полностью завязал, что ко мне вернулось

ощущение времени, что я неделями приходил в себя в нетопленом доме в горах, — столько же раз можете преспокойно мне не поверить. Скажу вам прямо: не верьте ни единому моему слову. Слово — мое излюбленное лакомство, мой наркотик, я не боюсь передозировки. Язык — мой второй, да какое там — мой первый и главный порок.

Независимо от того, говорю я на трезвую голову или спьяну, говорю, что с утра до ночи потягиваю палинку или что вот уже сто шестнадцать дней капли в рот не брал, — независимо от того, что я говорю, определенности в моих речах нет. Я сам не могу разобраться в своих словах. И другие не могут. То же самое с питием. Принцип неопределенности…

Сколько бы раз, к примеру, я ни шел, трезвый как ангел, по Шевской, направляясь на Рынок, столько же раз, не успевал я сделать и двадцати шагов, не проходило и двадцати секунд — я делал всего лишь шестнадцать шагов, и пролетало всего лишь шестнадцать секунд, — короче, едва нога моя ступала на Рынок, я первым делом, практически в мгновение ока, очеловечивал свою ангельскую сущность, а затем моя человеческая сущность по собственной инициативе молниеносно оскотинивалась: не успевал я оказаться

на Рынке — и уже был пьян как скотина. Отчего же, что случилось? Серебряные стены моей души рухнули? Подул черный ветер, столкнул меня в пропасть и усадил на высокий табурет? Что произошло? Не знаю. Я не могу определить, каким образом непитие на Шевской сменилось питием на Рынке.

Я — образец неопределенности. Когда я говорю, что не пью, это заведомо неправда, но когда я говорю, что пью, это тоже может быть чистым враньем. Не верьте мне, не верьте. Алкоголику стыдно пить, но не пить — тут уж совсем стыда не оберешься. Что же это за алкоголик, коли он не пьет? Никудышный это алкоголик. А каким лучше быть: никудышным или первостатейным? Что почетнее? Да и вообще — если пробил час пития, не только бессмысленно, но и непозволительно и даже позорно пытаться этот час отсрочить.

Ударник Социалистического Труда, седовласый сталевар с металлургического комбината им. Сендзимира (бывш. Ленина), когда во время очередного пребывания в отделении для делирантов осознал наконец свою беспомощность, когда понял, что пробил час пития и небеса сомкнулись над ним, как песчаный грунт над братской

могилой, — впал в ступор и целыми днями простаивал около мужского туалета (слезы ручьем катились по заросшим седой щетиной щекам), стоял, будто монумент, около сортира и повторял одно и то же:

— Как тут не пить, когда все пьют? Как тут не пить, когда все пьют? Как тут не пить, когда все пьют? Как тут не пить?

И стоял бы так бедолага до Судного дня, стоял бы так до дня выписки из больницы, стоял бы и лил слезы, если бы доктор Гранада в самую безысходную минуту не призвал его наконец к себе, не усадил в кресло и не разразился такой примерно речью:

— Скоро вы отсюда выйдете, пан Ударник, и если вам удастся по выходе не пить, не пейте, изо всех сил держитесь, но при этом сообщайте всем и каждому, что вы пьете. Так вы избежите располагающих к выпивке стрессов, избежите множества тягостных хлопот, и неприятностей, и даже соблазна, вас не настигнут разочарованные и зловеще выжидательные взгляды. Высокое алкогольное звание, пан Ударник, вам нелегко далось, и теперь и для вас, и для вашего пошатнувшегося здоровья будет лучше, если вы сохраните сложившийся образ. Не надо ничего ломать. Вы

переступили наш порог как алкоголик и — ради собственного психического комфорта, а также ради душевного покоя ваших искренних друзей — выйдете отсюда якобы неизменившимся, а по сути — всего лишь в маске алкоголика. Не пейте, но говорите напрямую либо с помощью нехитрых намеков давайте понять, что вы пьете. Как можно дольше и как можно убедительнее врите, что пьете, тем более что рано или поздно вы все равно запьете.

И слезы тотчас высохли на заросших седой щетиной щеках Ударника Социалистического Труда, и камень свалился с его души, и вышел он из кабинета доктора Гранады с просветлевшим лицом, и, выйдя, еще более просветлевший лик свой нам явил.

10. Река блаженного покоя

Меня не раздражало лицемерие Колумба Первооткрывателя, меня не раздражал даже его наставительный тон и невыносимый апломб, но меня несказанно раздражало то, что некоторые его аргументы были неоспоримы.

— Нету никакой философии пития, — твердил он, — есть только методика пития. Зато, — безотчетно менторским жестом он поднимал кверху палец, — зато есть философия отвратного самочувствия. В целом смысл человеческого существования сводится к перманентным стараниям улучшить самочувствие, чему могут, к примеру, служить идеология, религия, технический прогресс, материальные блага, а также — питие, точнее, умело применяемая методика пития. Иными словами, главное в жизни — исправлять дурное самочувствие, правильно используя методику пития. Это не всегда удается. Если самочувствие становится настолько отвратительным, что даже испытанная методика пития не помогает, или если методика пития разлаживается и вместо того, чтобы улучшать

самочувствие, его ухудшает, — тогда да, тогда возникают проблемы. У меня подобных проблем нет, — подчеркивал он, водружал на нос очки, открывал французский перевод Нового Завета и якобы углублялся в чтение.

Он был прав, и правота его, пусть раздражающая и пугающая, была неоспорима. Когда эта штука (здесь мне почему-то трудно щегольнуть термином «методика пития»), итак, когда эта штука разлаживается, из темнеющих и углубляющихся с каждой минутой вод реки, на берегу которой ты ищешь душевный покой, раньше или позже начнут высовываться руки мертвецов.

Но пока воды были чисты и легки, как дыхание. Я вышел из отделения для делирантов, за спиной у меня была двадцатиминутная поездка на такси и укрепляющие четыре по пятьдесят, под рукой — откупоренная бутылка, светлая река блаженного покоя тихо струилась, я был в отличной форме, правильно применяемая методика пития безотказно поддерживала хорошее самочувствие, на душе было покойно — никаких тебе истерических всплесков, никаких судорожных движений, никаких поползновений отхлебнуть прямо из горла. Я методично пил из стакана — маленькими, точно отмеренными глотками

по двадцать пять грамм каждый — и столь же методично трудился. Наполнял ванну горячей водой, насыпал не скупясь порошок «Омо-Колор», готовился к стирке. Автоматическая стиральная машина отказала еще до краха коммунизма и до распада обоих моих браков.

11. Альберта Байбай

Я выл, не слыша собственного воя, но, похоже, и вправду выл, они, во всяком случае, утверждали, что вой мой был страшен, страшен. Они сновали по квартире, их было немного, но все равно я не в состоянии был их сосчитать. Откуда они взялись? Из литературы? Сошли со страниц «Процесса» или «Дара Гумбольдта»? Явились из вымышленного мира романа, где описана сцена обыска или ареста? Я поднимал непослушные веки: честно говоря, я опасался, что вижу набитый цитатами из классики делирический сон, что еще не закончился сезон аморфных литературных призраков, но один из них склонился надо мной, поправил подушку, в нос ударил кожаный запах куртки, терпкий запах одеколона, и меня обуяла такая ужасная жажда, что я готов был слизать с этого кожаного весь одеколон. Вместе со слюной капля бы, возможно, и набралась — правда, одна капля не приносит облегчения, и все же, пока длится обманчивая минута ожидания, страх чуточку ослабевает. Я ощутил запах и избавился от делирических страхов, литературе решительно

и бесповоротно пришел конец, в моей комнате несомненно кто-то был. Я повернул голову, возле матраса должна была стоять бутылка с безотказным остатком — на один-два глотка. Как-то, помню, в подобном состоянии я повернул голову и увидел наполовину полную бутылку. Господи, да это было все равно что ария Моцарта, все равно что рассуждения Лейбница о совершенстве Бога, но сейчас… сейчас не было вообще ничего, даже пустой бутылки не было у моего изголовья. Я протянул руку, вернее, моя трясущаяся рука сама пустилась на поиски, поползла как ящерица, тщетно ощупывая пространство, все дальше и дальше — нет, ни-че-го. Тот, что поправлял мне подушку, присел на край матраса и вытащил из-за пазухи бутылку «бехеровки». Вид знаменитого зеленого стекла, должен сказать, не столько меня подкрепил, сколько обострил внимание — теперь я довольно отчетливо видел: в двух шагах от кровати стоял кто-то еще, а в глубине комнаты, в углу, сидел на кресле третий. Еще раз подчеркиваю: то были не бредовые видения (хотя по прошествии сорока, а может, и ста сорока дней я не только имел полное право, но просто обязан был бредить), то не была галлюцинация. И теперь, описывая это, я всеми силами стараюсь избежать

литературщины, всяких там давным-давно затасканных эффектов: мол, неизвестно, казалось это рассказчику или происходило на самом деле. Нет. В моей комнате вне всяких сомнений находились три человека, хотя третий и впрямь смахивал на призрак — очень уж своеобразное и по-прежнему невнятное моему взгляду было на нем одеяние, а голову закрывал капюшон.

— Сейчас получишь полстакана «бехеровки». — Голос тоже был абсолютно реальный: никакого тебе сатанинского фальцета и даже двусмысленных ноток или бандитской хрипотцы — приятный низкий голос вызывающего доверие врача. Реальность этого почти что баритона принесла облегчение, едва ли не такое же, как провозглашенное им обещание. Да, да, повторю еще раз с пьяным упорством: реальность ситуации принесла облегчение, ибо неутомимая навязчивая нереальность совсем уже меня доконала. — Сейчас получишь полстакана «бехеровки». Полагаю, великому специалисту в области потребления горячительных напитков незачем напоминать, что пить надо осторожно и очень медленно, иначе — как говаривали в старину — может случиться постыдная скидка из желудка, а это было бы, во-первых, — учитывая

присутствие дамы, — неизгладимым позором и, во-вторых, безвозвратной потерей изрядной доли животворной субстанции.

Действительно, учить меня было незачем. Зная, что через несколько минут начнется тонкая реконструкция моего тела и души, я приподнялся, принял сидячее положение, с величайшей (не лишенной благоговения) осторожностью взял в обе руки обещанный и, согласно обещанию, до половины налитый стакан и принялся увлажнять губы, и принялся орошать горло, и, сдерживая тягу к мгновенному спасению, соглашался на спасение постепенное. И потихоньку, потихонечку тяжеленный камень сваливался с моего сердца, прояснялись темные мысли мои и душа моя воспаряла.

— Лучше? — спросил мой спаситель, я же, будто сметливый подмастерье, на лету схватывающий наставления мастера, ответствовал:

— Лучше.

Минут через пятнадцать, когда мне настолько полегчало, что я перестал наконец с истерическим надрывом воспроизводить библейский стиль, я обвел их всех совершенно осмысленным взглядом и задал самый что ни на есть естественный и трезвый, как стеклышко, вопрос:

— Прошу прощения, но чем я обязан вашему визиту? И вообще, черт подери, откуда вы взялись, братцы, как сюда попали?

— Лучше еще не означает хорошо, — сочувственно произнес мой, пока единственный, собеседник. — Во-первых, не братцы — с нами дама. Странное, однако, дело: ты ведь слывешь знатоком прекрасного пола, а не заметил, что среди нас девушка. Альберта, предъяви свое женское обличье.

Особа, которая из этой троицы больше всего смахивала на призрак, без единого слова поднялась с кресла и неторопливыми движениями опытной стриптизерши принялась расстегивать пуговицы загадочного одеяния — при ближайшем рассмотрении, сильно утратив в загадочности, оно оказалось не то легким пальто, не то тяжелым платьем с капюшоном, — и вскоре передо мной в нарочито издевательской позе предстала красивая, стройная и высокая брюнетка в желтом платьице на бретельках.

— Альберта Байбай, поэтесса, — завершил церемонию представления уж сам не знаю кто. Главарь незваных гостей? Мастер таинственных церемоний? Мой благодетель? А может быть, объявленный в розыск преступник?

— Мы пришли сюда ради нее — ради ее недооцененных стихов. Что же касается прочих подробностей, то, во-первых, вошли мы, открыв дверь ключом, который ты с пьяной беззаботностью оставил снаружи в замке, а во-вторых, мы с тобой старые знакомцы. У тебя, возможно, и не возникло никаких ассоциаций, ты имеешь право не помнить, а вот я все помню. Меня зовут Иосиф Плотник, и когда-то, очень давно, лет сорок назад мы вместе посещали воскресную школу. Незачем добавлять, что по окончании этой школы наши пути разошлись. Ты переехал в большой город и интеллектуально развивался, а я остался в наших краях и зарабатывал на жизнь, занимаясь разными вещами, как правило, особого интеллекта не требующими.

Было бы замечательно, если б в этот момент в моей голове, заросшей темным бурьяном забвения, отворилась некая калитка и я вдруг вспомнил белобрысого пацана, который ни за какие сокровища не мог выучить наизусть даже самый коротенький лютеранский псалом, — сцена бы получилась не просто красивая, но и вполне классическая. Однако не тут-то было. Глядел я на этого Иосифа Плотника, и никакая калитка в моем мозгу не отворялась, ничего я не вспоминал

и никого не узнавал, настолько не узнавал, что все услышанное от моего якобы старого знакомца показалось мне чистым враньем, преследующим пока неясные, но безусловно нечистые цели. С другой стороны, этот мошенник, этот похититель чужих биографий, видно, много чего обо мне знал; похоже, он даже знал некоторые особенности моей души. Знал, например, что, услыхав про воскресную школу, я непременно расчувствуюсь, а то и уроню пьяную слезу. Но я сдержался, не распустил нюни, ничем своего волнения не выдал, да и он провокационные речи продолжать не стал, не уставился на меня выжидающе, а с прежней деловитостью вернулся к церемонии представления.

— Коллега же мой, — можно сказать, великосветским жестом он указал на стоящего в двух шагах другого бандюгу, — коллега же мой лично тебя не знает, зато он твой поклонник, читал твою статью в газете.

Мой якобы поклонник кивнул и с притворной горячностью подтвердил:

— Так точно, я к восторгам не склонен, но в данном случае пришел в восторг.

Я решил копнуть поглубже и — отчасти с хитрым прицелом, отчасти из тщеславия — спро-

сил:

— Страшно интересно… мне, конечно, очень приятно и вместе с тем страшно интересно, который из моих текстов произвел на вас столь благоприятное впечатление?

Тот развел руками (пресловутый жест, означающий беспомощность) и сказал со столь же пресловутой прямотой:

— Не помню, о чем там было, но помню, что подыхал от смеха.

Я съежился, как от удара кнута, главарь незваных гостей посмотрел на меня сочувственно, поэтесса Альберта Байбай сделала вид, будто ее внимание всецело поглощено слишком свободной, а может быть слишком тесной, бретелькой, и настала минута неловкой тишины. Когда же минута неловкой тишины миновала, вновь раздался дружелюбный голос предводителя:

— Меня не перестает удивлять глубина твоего падения: уж кому-кому, а тебе следовало бы знать, что читателей не надо экзаменовать, надо радоваться самому факту их существования, и точка. Впрочем, неважно, вернемся, наконец, а точнее, приступим к сути нашего дела. Итак, ты видишь перед собой красивую и умную Альберту. Она не только сейчас перед тобой стоит, она

ближайшие несколько часов, а если понадобится, и ближайшие несколько дней проведет здесь с тобой. Мы с коллегой буквально через минуту удалимся, нас, увы, как всегда, ждут в городе неотложные дела. Мы уходим, Альберта остается. Еще я оставляю тебе бутылку. Да, — с нажимом повторил якобы Иосиф Плотник, — я оставляю тебе бутылку. Иными словами, — жестом, исполненным значения, наставническим и потому поразительно похожим на излюбленный жест Колумба Первооткрывателя, он поднял кверху палец, — иными словами, ты остаешься с женщиной и с бутылкой, а это, учти, равносильно тому, как если бы ты незаслуженно попал в рай. Потом Альберта поможет тебе прийти в себя, приведет в порядок твои расшатанные нервы, сварит питательный бульон, напоит тебя витаминизированным фруктовым соком, в крайнем случае сбегает в магазин за парой целительных бутылок пива. Ты же взамен…

— Что взамен? Что взамен? — перебил я его, с одной стороны, потрясенный обилием сказочных благодеяний, а с другой — с ужасом осознав, что в теперешнем своем состоянии ничего, ну решительно ничего не смогу сделать взамен и не сумею ничем отплатить моим благодетелям.

— Вот я и объясняю: взамен от тебя потребуется самая малость. Ты всего-навсего выслушаешь стихи Альберты. Я, естественно, не собираюсь на тебя давить, но если хочешь знать мое скромное мнение, Альберта не только пишет превосходные стихи, она превосходно их декламирует, это прямо как пение — пять минут послушаешь, и на душе воцаряется покой. Выслушав, ты вдумчиво проанализируешь стихи, оценишь их по достоинству, а затем, использовав свои обширные связи, устроишь Альберте публикацию — лучше всего на страницах «Тыгодника повшехного».

— Да я же давно не печатаюсь в «Тыгоднике повшехном», — сказал, а вернее, тихо заскулил я — заскулил не потому, что на меня вдруг нахлынула пьяная тоска по «Тыгоднику», а потому, что в глубине души знал: все мои возражения и отговорки — пустой звук, в конце концов я покорно соглашусь.

— Не беда, знакомства у тебя там остались. Да и необязательно в «Тыгоднике», можно в каком-нибудь другом солидном и влиятельном издании. Например, в «Политике» или в «Газете выборчей», но лучше, чтобы это все-таки был «Тыгодник». Знаешь почему?

— Да, знаю, — нехотя буркнул я.

— Знаешь?

— Знаю.

— Что ты знаешь?

— То, что мне надо знать, — уныло ответил я, поскольку в данном случае как раз знал.

— Если знаешь, скажи. — В его упорстве было, без сомнения, что-то ребяческое. (Неизгладившийся след воскресной школы?)

— Вам это важно потому, что «Тыгодник» читает Папа Римский.

— Превосходно! Браво! Браво! — просиял якобы мой товарищ по изучению Закона Божьего. — Вижу, я тебя недооценил. Думал, ты задвинутый виртуоз слова, а ты, брат, хитер, ой, хитер, как лис. Сам понимаешь, что из этого может получиться: Иоанн Павел Второй читает в «Тыгоднике повшехном» стихи Альберты Байбай, их глубокий метафизический смысл потрясает святого отца, он отправляет Альберте крайне важное письмо или даже специальную папскую буллу, и — весь мир наш. Понимаешь, нас только это интересует, только это: на мелочи мы не разменяемся. Так что «Тыгодник» был бы наилучшим вариантом, но если не получится — пускай, получится в другом месте, в общем-то, один черт, ты же всех знаешь, со всеми пил и, когда придешь в себя,

что-нибудь придумаешь. Девочке надо помочь, она пишет сногсшибательные стихи, которые по причине, хорошо тебе известной, царящей в писательской среде умственной и физической инертности не печатаются. Итак, надо подсобить женщине с публикацией, иначе она, не дай бог, поверит в свою несостоятельность и с горя пойдет на панель. Ты послушаешь и поймешь, что стихи Альберты должны увидеть свет. Ладно, чего там рассусоливать, в конце концов по старой дружбе можешь для меня это сделать. В память о нашей воскресной школе.

Он выдал себя, выдал, определенно выдал: никто из посещавших когда-либо нашу воскресную школу не назвал бы Папу святым отцом. Так никогда не скажет ни один, даже самый захудалый, протестант. Мой якобы старый друг был разоблачен, но, поскольку не знал, что разоблачен, продолжал энергично действовать. Вынул из моих пальцев и отнес на кухню пустой стакан, вернулся и поставил у моего изголовья едва початую бутылку «бехеровки». Затем, пошарив по карманам кожаной куртки, извлек завернутую в обрывок газеты небольшую рюмку толстого стекла.

— Альберта будет отмерять тебе дозу, — сказал

он, — Альберта будет отмерять дозу, а ты не торопясь, маленькими глотками будешь пить вот из этой рюмки. Позор, дружище, — в его голосе зазвучали осуждающие нотки, — ты — один из величайших на свете алкоголиков, а лет десять, если не больше, не держал в руке рюмки. Как такое вообще возможно? — Он посмотрел на меня сурово и задумчиво. — Как такое возможно? — повторил, на сей раз адресуя вопрос самому себе, и тут же сам себе ответил: — Вопрос, пожалуй, чисто риторический. Ты десять лет не держал в руке рюмки, поскольку десять лет жрахаешь исключительно стаканами или прямо из горла. Методика пития, как сказал бы Колумб Первооткрыватель, разладилась. Окстись, дружище, пользуйся рюмкой и слушай стихи. Пока.

Оба бандита, издевательски мне козырнув, направились к входной двери, и минуту спустя входная дверь со стуком за ними захлопнулась.

Я посмотрел на Альберту, а она едва заметно улыбнулась и сделала первый шаг в мою сторону.

— Я вас видел около банкомата, — сказал я жалким голосом, — пялился на вас и был уверен, что вы — последняя любовь моей жизни.

— Около банкомата? — Альберта очень красиво

подняла брови. — Вполне возможно, я довольно часто пользуюсь банкоматами. И когда же это было?

— Не знаю, может, сорок, может, сто сорок, а может быть, пару дней назад. Во всяком случае, был чудесный июльский день.

Альберта подошла ко мне и склонилась надо мной, и я увидел очертания прекраснейшей груди — прекраснейшей среди стран — участниц Варшавского договора, с ходу захотелось мне подумать, но ведь ситуация в мире изменилась, и теперь передо мной были очертания прекраснейшей груди Атлантического пакта, или прекраснейшей груди Европейского сообщества, или самой прекрасной груди среди стран — кандидатов в Европейское сообщество. Альберта склонилась надо мной, положила ладонь мне на лоб и сказала, а точнее, прошептала:

— Не может быть, чтобы тебя так долго не было. Ведь уже зима, идет снег, лютует мороз, скоро Рождество.

12. Все стиральные машины на свете

Откладываемая на неопределенное время идея починки старой либо покупки новой стиральной машины, пожалуй, почила в бозе сама собой, независимо от моих слабостей. В жизни я пропил кучу денег, истратил на водку целое состояние, но ни разу не опустился до того, чтобы пропить сумму, предназначенную на починку машины. Признаюсь я в этом не с гордостью, а со стыдом. Ибо суммы, предназначенной на починку стиральной машины, я не пропивал исключительно потому, что никогда никакой суммы на починку стиральной машины не предназначал. Не успев предназначить некую сумму на починку стиральной машины, я ее пропивал вкупе с другими, еще ни на что не предназначенными суммами. Я пропивал деньги, еще не успев придумать для них иного назначения, ergo[3], имею право сказать, на первый взгляд самому себе противореча (но лишь на первый взгляд, ибо по сути я просто

[3] Примечания: 3
Следовательно *(лат.)*.

перехожу от частного к общему), — следовательно, имею полное право сказать: да, я пропил деньги на починку стиральной машины, пропил деньги на несколько починок, пропил деньги на капитальный ремонт… эй, что я говорю? Какой там ремонт! Я пропил деньги на покупку новой машины, пропил несколько новых машин, пропил тысячу новых машин, пропил миллион новых стиральных машин-автоматов, пропил миллиард стиральных машин новейшего поколения, пропил все стиральные машины на свете.

Что на душе у человека, который знает, что пропил все стиральные машины на свете? Отвечаю: душа его рвется ввысь, а мысль вибрирует, как барабан на последней стадии отжима. Когда на сердце камнем лежит тяжесть миллиарда пропитых стиральных машин, это невыносимо. Но когда ты поднимаешь печальный взор и видишь, как стаи белокрылых стиральных машин парят в водянистом небесном просторе, точно эскадрильи папских вертолетов, ты понимаешь, что тебе дано больше, чем другим. Тебе дан особый дар, и если ты выживешь, если раньше времени не врежешь дуба, смело отправляйся на поиски всех утраченных стиральных машин и даже — да, да — на поиски всех утраченных вещей.

Врата в небеса могут распахнуться перед тобой, однако тут надо держать ухо востро, тут надо быть начеку, ибо небесные врата могут, распахнувшись, тут же навсегда захлопнуться. Если ты не совладаешь со слабостью, если шаг твой будет нетверд и тебя будет клонить в сон — ты не захочешь, не сумеешь вернуться. Иногда уже после сотой — а у кого кишка тонка, то, возможно, уже после десятой пропитой стиральной машины безвозвратно пропадает интерес к земным делам и воля к действию. А духовность, абсолютно свободная от уз бренности, это же чистая графомания. Если твоя задача — пропить все стиральные машины на свете, ты неизбежно рано или поздно начисто забываешь о земном существовании, в писательском же деле пренебрежение таковым ведет к графомании, а стало быть, тот, кто пишет и пьет, попадает в сложное положение. Я пил и не забрасывал сочинительства, вот и сейчас с пьяной слезой в глазу пишу о заброшенной по причине пьянства стиральной машине. Ах, если бы я нашел в себе интерес к ее земному разладившемуся механизму… ладно уж, просто нашел бы свободную минуту, я бы, ясное дело, поручил кому следует починку. Но я не находил ни того ни другого. Не сподобился

позаботиться о хлебе нашем насущном — аминь. Моя первая жена со временем привыкла к вечно неисправной стиральной машине, и перестала на меня давить, и ушла, и никогда больше не давила. Моя вторая жена ушла до того, как привыкла и перестала давить.

13. Цитаты

О мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

Псалом 68

Еще в четверг было пито. И как пито было! А теперь он кричал день и ночь и осип, теперь он умирал.

Юрий Тынянов

Изрядно, весьма изрядно подкрепившись, я принялся складывать свои манатки на крышу сарая, до которой мог дотянуться рукой, сперва положил портфель, затем, одну за другой, бутылки: саксонскую хлебную водку, потом четыре непочатые и одну початую бутылку шварцвальдской сливовицы — все аккуратно, рядком, на краю крыши.

Ханс Фаллада

Ничего больше, кроме как убивать время, ему уже не оставалось. И та кварта бурбона, которую он вслепую швырнул в реку, теперь не поможет.

Роберт Лоуэлл

У тебя есть коньяк? Наверное, он для твоей старушки матери. А может, ты хранишь этот коньяк для Господа нашего Иисуса Христа, чтобы угостить его в день второго пришествия. Разве мне, твоему другу, пристало судить, для чего предназначен этот коньяк?

Джон Стейнбек

Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил?

Федор Достоевский

Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу… Пью, ибо сугубо страдать хочу!

Федор Достоевский

Наши грехи Богу ни угодны, ни неугодны, он только лишь их допускает.

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Так я и провел всю ночь, пил и блевал попеременно.

Ханс Фаллада

Он входит в церковь, губы его шевелятся, будто читая молитву. Внутри прохладно; на стенах изображения Крестного пути. Кажется, никто не смотрит. В церкви — вот где ему особенно нравится пить.

Малькольм Лоури

Что ж, что пьян? Ну, и пьян! Пьян — и горжусь этим.

Александр Островский

Но бывали такие пропойцы, что — ощущая в себе переизбыток спиртного и не желая отступаться, ибо по завершении трапезы охоты ничуть не убывало, — выходили за дом и там, добровольно скинув с души, возвращались к столу и снова наново пили.

Енджей Китович

А не думала ты, что жить с пьянчугой тебе прискучит? Ты еще самого худшего не видела. Я все переворачиваю вверх дном. Постоянно блюю. Это чудо, что последние несколько дней я так хорошо себя чувствую. Ты как противоядие, что смешивается с алкоголем и удерживает меня в норме, но вечно это продолжаться не будет.

Джон О'Брайен

И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных… И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но придите и вы!»

Федор Достоевский

Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер.

Антон Чехов

Однако я не могу представить себе, как можно продлить удовольствие от питья, когда пить уже больше не хочется, и как можно создать себе воображением искусственное и противоестественное желание пить.

Мишель Монтень

Пошли, Господи, всем нам, пропойцам, такую легкую и прекрасную смерть!

Йозеф Рот

— Выпить вроде охота.
— Всем охота, только не все это знают.

Чарльз Буковски

Я был напуган и пил больше обычного. Я работал над своим первым романом. Сидя за пишущей машинкой, каждый вечер выпивал полбутылки виски и дюжину пива. До рассвета курил дешевые сигары, колотил по клавишам, пил и слушал классическую музыку по радио. Я поставил себе цель: десять страниц зараз, но проверить, сколько написал, мог только на следующий день. Вставал утром, блевал и отправлялся в переднюю комнату — поглядеть, сколько страниц лежит на диване. Норму свою я всегда перевыполнял.

Чарльз Буковски

И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши…

Апокалипсис

Мой организм отравлен алкоголем.

Максим Горький

И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мною, сказал мне: подойди…

Апокалипсис

Врата любому лиху пьянство:
Раздорам, богохульству, чванству.
Горит душа, страдает плоть —
Спаси, Господь.

Песнь противу пьянства
(Из сборника религиозных песен Хечко, № 443)

Без питья не жить, да и о питье не жить.

(из словаря Владимира Даля)

Как биолог, как исследователь общественной жизни, занимающийся властью и переустройством мира, созданием универсального порядка, — во всех этих ипостасях он, казалось, испытывал огромную потребность в копуляции.

Сол Беллоу

Странное дело: водка — чертовски крепкий напиток, загадочный настой трав, каким-то особым образом связанный со звездами.

Герман Брох

Мы шли рука об руку по Сен-Жерменскому бульвару, и перед витриной антиалкогольной лиги, где, по обыкновению, выставлены были ссохшиеся мозги, я сказал:

— Здесь, разумеется, лучше перейти на другую сторону.

Филипп Супо

Кто хочет повторения, тот настоящий мужчина.

Сёрен Кьеркегор

С седьмого класса я стал довольно аккуратно посещать веселый дом, там пил пиво.

Владимир Набоков

Душа моя среди львов…

Псалом 56

Кругом бочки с портером, красота. Но крысы и туда забираются. Упьются, раздуются с собаку и плавают на поверхности. Мертвецки упившись портером. Налижутся до блевотины, как черти.

Джеймс Джойс

Пока я с вертолета, пролетающего над Манхэттеном, разглядывал Нью-Йорк, будто проплывая в лодке со стеклянным дном над тропическим рифом, Гумбольдт, вероятно, рылся среди своих бутылок, отыскивая хоть капельку сока, чтобы смешать его с утренним джином.

Сол Беллоу

Жизнь возможна лишь благодаря ускользанию от идеи времени.

Эмиль Мишель Чоран

Господи, я любил клубничный джем.

Темную сладость женщины, а также

И ледяную водку.

Чеслав Милош

Не знай я, что покончить с собой можно в любой момент, удавился бы немедленно!

Эмиль Мишель Чоран

Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы.

Псалом 76

А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас выпить?

Венедикт Ерофеев

14. Стихи Альберты

Прекрасны были стихи Альберты, прекрасны, как сон. Свет, а может быть, тень, луч света или тень младенца, душа — нежная, загадочная, непостижимая — скользила по строкам, от строфы к строфе. Не покидая отчего дома, Альберта хрипловатым сопрано воспевала все предметы и утварь, что когда-то там были. Читала стих о жестяном чайнике на шестке, в котором некогда кипятили воду, читала о той воде, о том шестке, о свече, в ночь под Рождество горевшей на столе, читала замечательную лирическую поэму о вязаной шапочке мальчугана, который каждый день по дороге в школу проходил под окнами ее дома.

Сколько это продолжалось, не знаю, долго ли Альберта читала стихи, не знаю: кажется, недолго, и, кажется, во время чтения меня ни разу не сморила упоительная, минутная или более продолжительная дремота. Так или иначе, читала она, стоя посреди комнаты, как посреди сцены; все тогда указывало — да и теперь указывает, — что это должно было выглядеть чертовски смешно, однако не только не было

смешно, но чем дальше, тем сильнее меня волновало. Я слушал стихи стоящей как изваяние на замусоренном полу Альберты, и мне чудилось, что я лежу на облаке.

Потом она присела на край облака, сразу ставшего соблазнительным краем матраса, и положила свою теплую ладонь на мою холодную руку и задала мне вопрос, который я тысячу раз слышал, задала вопрос, который мне уже задавали тысячи, миллионы людей, задала вопрос, который мне уже задавали европейцы, азиаты, американцы, африканцы, австралийцы и, кажется, даже эскимосы, задала вопрос, который до сих пор мне не задавал, пожалуй, один только Господь Бог.

— Почему ты пьешь? — спросила Альберта.

— Альберта, — ответил я хрипло, — если бы мы с тобой познакомились двадцать лет назад, я бы вообще не пил.

— Начнем с того, что двадцать лет назад мне было четыре года и, если бы мы тогда и впрямь познакомились, ты бы пил в два, а то и в сто раз больше, — отвечала она. — И вообще, зови меня Аля, так лучше. — И повторила: — Почему ты пьешь?

— Не знаю, — ответил я. — Не знаю, вернее,

у меня есть тысяча ответов. Ни один не назову правдивым, но в каждом есть доля правды. И все равно нельзя сказать, что в сумме получается одна большая правда, чистая правда. Я пью, потому что пью. Пью, потому что мне нравится пить. Пью, потому что мне страшно. Пью, потому что генетически к этому предрасположен. Все мои предки пили. Пили прадеды и деды, пил отец и пила мать. У меня нет ни сестер, ни братьев, но я уверен: будь они у меня, все до одного — и братья, и сестры — тоже бы пили. Я пью, потому что у меня слабый характер. Пью, потому что у меня что-то сдвинулось в мозгах. Пью, потому что чересчур вялый, а хочется быть поживее. Пью, потому что нервный и хочу успокоить нервы. Пью, потому что грустный и хочу повеселить душу. Пью, когда счастлив в любви. Пью, потому что тщетно ищу любовь. Пью, потому что слишком нормальный и нуждаюсь в толике безумия. Пью, когда у меня что-то болит и хочется унять боль. Пью, если по ком-то тоскую. И пью на радостях, если тот, по ком тосковал, рядом. Пью, когда слушаю Моцарта и когда читаю Лейбница. Пью, будучи сексуально возбужден, и пью, когда пропадает всякая охота. Пью, когда выпиваю первую рюмку, и пью, когда выпиваю последнюю

рюмку, — это уж обязательно, ведь последней рюмки я пока не выпил.

— Погоди, — с явным раздражением сказала Аля-Альберта. — А вообще бывают такие минуты, когда ты не пьешь?

— Пожалуй, я не пью, когда настолько пьян, что нету больше сил пить, хотя, честно говоря, силы, чтобы продолжать пить, всегда найдутся; а еще я не пью, когда сплю беспробудным сном пропойцы, хотя, как знать, возможно, тогда я тоже пью. Пожалуй, я пью и во сне, и наяву.

— Может быть, тебе просто нужно лечиться. Врачи, наверно, сумели бы тебе помочь, подсказали ответ. Поговори с кем-нибудь, кто знает больше твоего.

— Да я же постоянно общаюсь с врачами, доктор Гранада мне как отец родной. Я восемнадцать раз лежал в отделении для делирантов и слушал, что отвечают на этот вопрос мои, так сказать, соратники. Все пили по одним и тем же причинам, хотя, случалось, и по каким-то другим. Пили, потому что отец был слишком строг, и пили, потому что мать была слишком добра. Пили, потому что пили все вокруг. Пили, потому что в семье все были алкоголики, и пили, потому что в роду никто в рот не брал. Пили, потому что Польша была под

московским игом, и пили, впав в эйфорию после освобождения. Пили, потому что поляка избрали Папой Римским, и пили, потому что поляк получил Нобелевскую премию, и пили, потому что полька получила Нобелевскую премию. Пили за здоровье интернированных и за упокой души убитых. Пили в одиночестве и пили, когда рядом хоть кто-нибудь появлялся. Пили, когда Польша побеждала, и пили, когда Польша проигрывала. А доктор Гранада с нечеловеческим терпением выслушивал все эти исповеди, недоверчиво качал головой и говорил то, что я сказал вначале: «Вы пьете, потому что пьете».

— Опамятуйся, проснись. — Возможно, Альберта говорила в общем смысле, а возможно, по вполне конкретному поводу, возможно, вдобавок к многолетнему сну я как раз сейчас на минутку задремал. Альберта деликатно трясла меня за плечо: — Проснись.

— Зачем просыпаться, если наяву еще хуже? Явь — главная причина, заставляющая пить.

— Раз ты пьешь во сне и наяву, стало быть, по-настоящему и не знаешь, каково оно наяву.

— Послушай, будь я тогда, в тот июльский день, трезв, я бы не увидел тебя около банкомата и не подумал бы, что ты умная и красивая, мне бы в

голову не пришло, что ты — величайшая любовь моей жизни, я бы не побежал за тобой, не воспарил душою…

Продолжить свою речь я не смог, потому что у меня пересохло в горле. Альберта, видя, что глаза мои увлажняются и я вот-вот разрыдаюсь, налила мне — по ее мнению, достаточную, а по-моему, недостаточную — порцию. Но я не стал домогаться даже самого минимального долива, поскольку знал, что поступила она так не только по доброте своей и повелению гангстеров, которые ее сюда привели, а еще и потому, что не хотела прерывать беседу.

— Хорошо, — сказала она, — ты воспарил душой, притом из-за меня, а женщине такое всегда приятно, но скажи, чем это кончилось? Скажи, если помнишь.

— Кончилось отделением для делирантов, — сказал я после минуты вынужденного молчания.

— Вот именно. По-моему, возвышенные чувства, иссякающие в отделении для делирантов, немногого стоят. Честно говоря, ни черта они не стоят. Ты должен из этого выйти.

— Аля, а знаешь ли ты, о чем беспрерывно говорят делиранты в отделении для делирантов? Известно ли тебе, о чем ведут они свои бесконеч-

ные разговоры?

— Ты же сам только что сказал. Они беспрерывно говорят об одном: как и почему пьют.

— Верно, они беспрерывно рассказывают, как пили и почему пили, но основная тема разговоров: как выйти. О выходе — вот о чем они больше всего говорят. Об искусстве выхода произносят пространные речи. Без устали об этом талдычат. Постоянно задают вопрос: когда мы отсюда выйдем? Интересно, когда нас выпустят? Интересно, когда удастся отсюда выйти? Через неделю, а может быть через две? Может, завтра? Завтра нет, ведь завтра воскресенье, а по воскресеньям не выписывают. Но уж в понедельник наверняка. В понедельник мы точно отсюда выйдем.

Альберта посмотрела на меня с особого рода нежностью — так женщина смотрит на мужчину, который от природы ее глупее.

— Послушай, я же не о выходе из больницы говорю, я говорю о выходе из этого состояния.

— А я тебе скажу, Аля: только наивные полагают, будто выход выходу рознь. Умные и опытные знают: такой ли выход, сякой ли — разницы нет.

— Умные и опытные алкаши, наверно.

— Меня так и подмывает ответить: нет людей умнее и опытнее, чем умные и опытные алкаши,

но это был бы типично алкашеский афоризм, а я последнее время алкашеских афоризмов избегаю. Из больницы или из болезни выходишь — все одно возвращаешься в мир, который похуже любой болезни. Ну и где тут разница?

В комнате постепенно смеркалось, видно, приближался вечер, но с равным успехом могло приближаться утро, уже давно могло быть совершенно темно, а мне могло казаться, что только начинает темнеть; я понятия не имел, ни который теперь час, ни какое время суток, а спросить стеснялся. Мне вспомнился рассказ Ударника Социалистического Труда о том, какой у него вышел конфуз со временем, — одна из сотен тысяч алкашеских баек о неприятностях подобного рода.

Ударник Социалистического Труда к себе на металлургический комбинат им. Сендзимира (бывш. Ленина) ходил к шести утра. Случай, о котором он рассказывал, то есть его крутой запой произошел зимою, когда — как всем известно — и в шесть вечера, и в шесть утра одинаково темно. Ударник Социалистического Труда проснулся в темноте — было полшестого. С пьяным тупым отчаянием он осознал, что еле-еле успевает на работу; к счастью, на опохмелку у него еще

оставалось, он чуток подлечился, а по пути к остановке, в магазине, еще заправился пивом. То, что в столь ранний час магазин неожиданно оказался открыт, несколько его удивило, обычно открывали магазин около семи, а тут на тебе, еще и шести нет… Позже, на остановке, тоже кое-что не сходилось: народ не тот, что всегда, да и больно много людей, вдобавок чересчур уж они шустрые для зимнего раннего утра… В конце концов страшное подозрение закралось в душу Ударника Социалистического Труда, однако кого попало он спрашивать не стал, постеснялся и начал глазами отыскивать в толпе какого-нибудь собрата — долго, впрочем, искать не пришлось. В надлежащем месте, на самом краю тротуара, стоял надлежащим образом пошатывающийся человек. Пошатывался он именно так, как надо было: легонько и почти незаметно; человек этот, хоть и нетвердо держался на ногах, наверняка еще знал, какая пора на дворе. Ударник Социалистического Труда подошел к нему и спросил:

— Послушай-ка, скоро шесть, но шесть утра или шесть вечера?

— Шесть дня, — отвечал тот; рассказ Ударника я привожу исключительно из-за красоты этого ответа, а вовсе не из-за эффектной концовки:

какой намечается у байки конец, было ясно с самого начала.

Так или иначе, комната погрузилась в темноту; пожалуй, все же был вечер. Альберта встала, зажгла стоящую на письменном столе лампу и вернулась ко мне.

— И это не кажется мне ни слишком тонким, ни слишком сложным для понимания.

Я понятия не имел, про что говорит Альберта, я напрочь забыл, о чем мы беседовали минуту назад, при свете лампы ее желтое платье и плечи, казалось, излучали лунное сияние.

— И это не кажется мне ни слишком тонким, ни слишком сложным для понимания, — повторила она, будто догадавшись, что я нуждаюсь в повторении. — Совершенно напрасно твои несчастные собратья талдычат о выходе, напрасно мечтают поскорее выйти на волю, они должны терпеливо сидеть, лежать… короче, оставаться в больнице, пока не вылечатся.

— Аля, — ответил я ей так, как ответил бы доктор Гранада, — Аля, ты рассуждаешь как малое дитя. Да, им не следует мечтать о выходе из больницы, потому что для них лучше было бы вообще оттуда не выходить. Я не утверждаю, что в отделение для делирантов нужно заключать

пожизненно, хотя все мы знаем, что жизнь — это и есть пожизненное заключение. Я просто хочу сказать, что для делирантов такое отделение — самое подходящее место. Скажу тебе по секрету, Аля, мне лично не раз казалось, что я бы мог там жить постоянно. Соратники без устали травят фронтовые байки, вспоминают разные, значительные или ерундовые, но всегда интересные происшествия, кормежка регулярная и вполне питательная, недоступность радио, телевидения и азартных игр подталкивает к ребяческой, но крайне увлекательной конспирации; в основном там царит гнетущая печаль, размышления решительно превалируют над активной деятельностью, словом, атмосфера для интеллектуала идеальная…

— О господи, что за ахинею ты несешь, как далеко зашла твоя болезнь! Это хроническая белая горячка, да? Скажи, ты и вправду тогда — ну, когда увидел меня возле банкомата, если вообще там меня видел и если это на самом деле была я, — ты действительно тогда побежал за мной, или тебе только так показалось?

— А сейчас, — спросил я голосом снова дрожащим и неуверенным, как будто чудотворная «бехеровка» еще не пробежала по моим жилам, —

а сейчас ты здесь? Сидишь около меня?

— Да, сейчас я здесь, сижу около тебя и к тебе обращаюсь.

— Я тебя люблю, Аля, — сказал я, — люблю так, как никого и никогда еще не любил.

— Знаешь что, милый, — Аля погладила меня по голове и даже, кажется, провела рукой по щеке, заросшей алкашеской щетиной, — знаешь что, дорогой, мне известно, что у тебя белая горячка, мне известно, что у тебя галлюцинации, мне известно, что в голове у тебя сам черт не разберет, но, оставив все это в стороне, я из чистого любопытства спрошу: скольким женщинам ты такие слова уже говорил? Сколько раз, сукин ты сын, повторял свое коронное «я тебя люблю больше жизни»?

— Я это говорю впервые, то есть так искренне и пылко — впервые. Возможно, мне случалось разок-другой произносить подобные или даже идентичные фразы, но то была циничная риторика. Как всякий мечтающий о копуляции самец я прикидывался влюбленным.

— И они тебе верили? Тебе вообще хоть кто-нибудь верил? Что это были за женщины? Безмозглые куклы? Или ты имел дело исключительно с извращенками, балдеющими от восхитительного

запаха перегара? Да?

— Сказать тебе честно?

— Только честно.

— Но учти, если я скажу честно, ты, возможно, во мне разочаруешься… Или даже почувствуешь физическое отвращение, — игриво добавил я.

— Кажется, я пока еще не очень-то очарована твоей трясущейся, как студень, особой. Конечно, мне приятно, что ты якобы пришел в восторг от моих стихов, но я подозреваю, что это просто-напросто алкогольная эйфория.

— Спрашиваю еще раз: говорить честно?

— Да, честно.

— Честно?

— Я не только в жизни не видела такого алкана, как ты, — я никогда не видела такого занудного алкана.

— Что ж, Аля-Альберта, тогда послушай. Выслушай до омерзения искреннее признание. Мои женщины специально для меня заводили вытрезвители. Я рассматривал своих женщин как заведующих моими личными отделениями детоксикации. У меня, горького пьяницы, имелась собственная сеть вытрезвителей, учрежденных моими очередными или параллельными возлюбленными. В случае необходимости я звонил

и ехал, а если не в состоянии был ехать, они сами приезжали и забирали мой труп к себе и с нежностью его воскрешали.

Обольстительная Звезда Экрана держала для меня мой личный вытрезвитель, у Уругвайки Футболистки всегда было наготове комфортабельное реанимационное отделение, Йоаська Гроза Дурдома тоже основала нечто подобное, у Бахи Маклерши меня в любой час ждали удобная кровать, витамины, соки и даже капельница, Абсолютно Безответственная Соплячка возглавляла солидную фирму по оказанию неотложной помощи; я перечислил только самых основных — кроме них у меня было еще немало временных и случайных помощниц.

Попадались среди них и сущие ангелы, которые сами прилетали ко мне, а точнее, к моим нетранспортабельным останкам, и комната, где мы с тобой сейчас беседуем, превращалась в палату интенсивной терапии. Средствами бедняжки располагали, конечно, неодинаковыми — начиная от суперсовременного оборудования, лекарств новейшего поколения и практически неисчерпаемого запаса финансов, как это было в случае Бахи Маклерши, вплоть до невероятной рассеянности и полного отсутствия квалифика-

ции, чем отличалась еще не упомянутая мною в данном контексте Ася Катастрофа.

— Знаешь что, — кажется, вовремя перебила меня Альберта, — я все думаю, что страшнее: то, что ты не способен нормально жить, или то, что ты не способен нормально говорить. Язык, что ли, у тебя иначе не ворочается — слова в простоте не скажешь. Что за имена, к примеру? Говори по-человечески, пора уже начинать нормально жить.

— Кто, где и когда сказал, — в моем голосе появились и стали крепчать язвительные нотки, — кто, где и когда сказал, кто, где и когда написал, что я создан для нормальной жизни?

— А для какой жизни ты создан? Ненормальной? Исключительной? Гениальной? Ущербной?

— Я, Аля, создан для глубоко несчастливой жизни.

— Возьми себя в руки и начинай новую жизнь — трезвую, но счастливую.

— Трезвую, но счастливую? Да ведь одно другому противоречит.

— Нет здесь никакого противоречия. Когда ты это поймешь, сразу бросишь пить.

— Альберта-Аля, Альберта Байбай, сочинительница проникновенных строк, поначалу я думал, что ты — величайшая любовь моей жиз-

ни, величайшая, но трагическая, ибо бесследно исчезнувшая за углом на пересечении Иоанна Павла и Панской, затем я решил, что ты — член банды загадочных гангстеров, затем — что ты призрак, неземное создание, потом, в ходе нашей беседы, я подумал, что ты — самый близкий мне человек, но теперь я вижу, что ты самая обыкновенная настырная лекарка, да, ты докторша, врачиха, врачиха-зассыха…

Она долго смотрела на меня с трогательной печалью, а потом сказала:

— Я не хочу от тебя никакой помощи. Не желаю, чтобы ты пристраивал мои стихи. Обойдусь без тебя. Сама справлюсь — есть у меня такая внутренняя уверенность. А тебе, несчастный, остается одно: надраться.

И Альберта налила мне полный стакан, и я немедля выпил его залпом, потому что уже способен был пить залпом. Мне это было просто необходимо. Я был дочиста, до предела опустошен, и только беспредельная пустота могла меня наполнить.

15. Голубые песцы

Налив в ванну горячей воды, кинув туда грязное белье и насыпав не скупясь стиральный порошок «Омо-Колор», я принялся за газеты. Они лежали повсюду, и создаваемый ими беспорядок, хоть и поверхностный, смахивал на полный разгром. Когда в период запоя я поутру отправлялся за очередной бутылкой, за очередными двумя или тремя бутылками либо за очередной дюжиной пива, по дороге я всегда покупал целую кипу газет. Под газом или с бодуна, в особенности с бодуна, еще не усмиренного первой утренней дозой, я покупал гораздо больше газет, чем обычно. (Хотя скорее следовало бы сказать «покупал необычайно много газет»: обычно я бывал необычайно пьян, трезв я бывал необычайно редко… стоп, опять поднимает башку змей-искуситель, бес пьяной риторики: пить — страшно; писать о питии — страшно; пить, писать и сражаться с бесом риторики — страшно, страшно, страшно.) Я покупал все ежедневные газеты, выходившие в этот день, покупал желтую прессу, изобилующую гнусными предложениями,

покупал еженедельники, иллюстрированные журналы, женские журналы (главным образом, журналы, посвященные моде, искусству макияжа и животрепещущим проблемам ухода за кожей), покупал литературные ежемесячники и альманахи, и даже кое-какие специализированные издания. В зависимости от настроения я выбирал либо охотничий, либо медицинский, либо астрономический журнал. Потом несколько часов кряду, вплоть до очередной отключки, я лежал на диване и изучал прессу. Незабываемые минуты гомеостаза в промежутках между отключками! Ум мой был восприимчив, мысль — стремительна, я прочитывал все от корки до корки. Читал сообщения отечественных и зарубежных агентств, передовицы и политический комментарий. Изучал экономические обзоры, из которых следовало, что Польша семимильными шагами идет по пути прогресса, просматривал спортивные колонки, из которых следовало, что Польша может победить всех без исключения, штудировал материалы на религиозные темы, из которых следовало, что Польша может всем принести спасение. С тупым упорством разглядывал фотографии прелестных нимфеток, их феноменально худые плечики пробуждали во

мне неясную тревогу, и, чтобы хоть чуточку унять эту тревогу, я чуточку отхлебывал из бутылки, самую малость, один глоточек.

Сейчас… Сейчас — то есть когда? После опорожнения первой укрепляющей или второй окрыляющей поллитровки? Сейчас? После мнимого протрезвления? Сейчас? По выходе? После возвращения? После падения? Сейчас — через три, а может, через шесть недель, через сорок, а может быть, сто сорок дней?

Сейчас, после возвращения из больницы, я не помнил ни одной из прочитанных в минуты гомеостаза (между очередными отключками) статей; иногда какая-нибудь яркая обложка иллюстрированного журнала, какая-нибудь фотография соблазнительной аноректички в джинсовом платьице казалась мне смутно знакомой, будто я видел ее во сне или в прошлой жизни.

Повсюду громоздились груды пожелтевших, покрытых толстым слоем пыли газет; я методично собирал их и аккуратно складывал в надлежащего размера пачки, которые затем выбрасывал в мусоропровод. Я бы мог сказать: убирался в квартире, уничтожал следы пьяных дебошей, устранял все, что напоминало о потере человече-

ского облика, замазывал и стирал все, что только удавалось, в своей и без того дырявой памяти. Я мог так сказать, но это не было бы правдой; в устах алкоголика даже простейшее выражение, например «уборка квартиры», вполне может оказаться образцом напыщенной и насквозь фальшивой риторики. Я убирался в квартире, но сам точно не знал, что делаю, не знал, где нахожусь, не знал, что же такого в моем — а может быть, не моем — доме случилось.

После шестинедельного пребывания в отделении для делирантов я выходил из больницы, ехал на такси, входил и выходил из бара «Чаша ангела», входил и выходил из магазина, поднимался на лифте, открывал дверь и долго, остолбенев, стоял на пороге. Кто здесь побывал, пока меня не было? Кто сюда вселился в мое отсутствие? Кто в страшных мучениях ворочался с боку на бок в моей постели? Кто истекал бурым, как моча, потом? Кто оставил после себя черную простыню? Кто читал «Волшебную гору» и дошел до двадцать седьмой страницы, потому что именно на этой странице открыта лежащая на ковре книга? Какие пятнистые крысы, какие голубые песцы здесь угнездились? Кто просматривал газеты? Кто курил и оставил везде горы окурков? Кто спал в

кресле? Кто швырнул полотенца на пол ванной? Кто забыл в прихожей шейный платок тигровой расцветки? Что за личности, что за мороки тут хозяйничали? Да, тут угнездились крысы и песцы и во время ночных охот и любовных игр все порушили и растащили по углам.

А откуда эта гнетущая атмосфера разврата, откуда бальзам для тела, длинный волос на подушке, откуда столько предметов, женской рукой перекладывавшихся с места на место? Не раз, когда я лежал в мокрой постели, мне казалось, что по пустым комнатам снуют тени худосочных нимфеток, призраки моих бывших жен склонялись надо мной, совращенные малолетки открывали окна, юные послушницы варили на кухне питательный супчик и поддерживали мне голову и, благодетельницы мои, поддерживали меня добрым словом. Прекрасные, как сон, фоторепортерши меня фотографировали, бойкие журналистки дотошно интервьюировали — это среди них мне следовало искать предсмертную любовь, я протягивал руки и натыкался на темноту. Кто-то ходил по комнате, кто-то лежал на моей кровати и выл, выл неживым голосом.

Я подносил бутылку к не своим губам, водка поначалу не желала литься, а потом лилась, лилась

жгучей струей в пересохший рот, в глотку, обжигала жарким пламенем, журчала как ручеек, стремительно взбухающий от июньских ливней, прозрачная струя, острая как скальпель, текла по кишкам и вспарывала кишки, поток огненной лавы разливался по вымершему краю, искал тайное убежище, искал бухту блаженного покоя.

Где-то внутри, между диафрагмой, сердцем и легкими, между дыхательными путями и кровеносными сосудами, между легкими и позвоночником у меня была отрицательная чакра, анатомическая пустота, замаскированная мышцами и костями дыра в форме веретена объемом в пол-литра. Ощущая себя тяжелым старинным шкафом с пустой потайной полкой, я брал серебряный, как колпачок от бутылки, ключ, открывал в самом себе черную дверцу и ставил под сердце пол-литра горькой желудочной, и мое деревянное сердце начинало качать кровь, и мои легкие наполнялись воздухом, занимался рассвет, над бухтой блаженного покоя рассеивался густой туман, я был легок, как облако, и счастлив, как выздоравливающий, я выпивал еще один точно отмеренный глоток, откидывался на подушку и безмятежно глядел в потолок. И взор мой пробивал потолок, и взор мой пробивал все перекрытия

и потолки над моим потолком, и пробивал темный воздух над Краковом и над Варшавой, и проходил сквозь слой туч низких и сквозь слой туч высоких, и проходил сквозь голубое небо и сквозь синее небо, и достигал черных сфер, и на небесах, черных, как черный «Смирнофф» или черный «Джонни Уокер», я видел созвездия. Снова видел комету над Чанторией[4] и снова видел созвездие Ангела с Чашей.

Отче мой, отец мой небесный и отец мой нетрезвый, и нетрезвый отец моего нетрезвого отца, и все мои нетрезвые прадеды, и все мои нетрезвые предки, а также все не состоящие со мной в родстве фаталисты, все те, что знают, видели, где находится созвездие Ангела с Чашей, все те, что родились и преставились в его сине-золотом сиянии, — примите мой низкий поклон!

Вы были рядом со мной, вы едва держались на ногах, однако, верные наставническому и родительскому долгу, были рядом; была со мной рядом бабка Мария — владелица скотобойни, и был со мной рядом дед Ежи — почтмейстер, и дед Кубица — богатый хозяин, и мой отец — молоденький солдат вермахта, и моя мать, учившаяся

---

[4] Примечания: 4

Большая Чантория — вершина в Бескидах, на границе со Словакией.

аптечному делу, и доктор Свободзичка, все вы были со мной и трясущимися руками и дрожащими пальцами показывали мне созвездия и звезды: Полярную звезду. Большую и Малую Медведицу, и Волосы Вероники, и Андромеду, и Плеяды, и россыпь Млечного Пути. Бормотала река, шумели деревья, горы, не дрогнувшие от ваших слов и вашего дыхания, стояли как врытые, а поверх всего вдаль и вширь раскинулось созвездие Ангела с Чашей. На черном фоне мне были хорошо видны все звезды, его составлявшие: семь звезд обозначали шаткий торс, три — запрокинутую голову, четыре — сдвинутую на затылок шляпу; пять ярких звезд обрисовывали поднятую руку, девять — крылья, а десять огненных, как померанцевая настойка, звезд — чашу, поднесенную к алчущим, отмеченным очень темной звездой устам. Под стопами у него — Центавр, Золотая Рыба и Весы, одесную — Лев, Волопас и Дева, ошуюю — Лира, над ним — тьма.

16. Колядки

Мы сидели за столом вперемешку с самоубийцами, и сестры не спускали с нас глаз. Шимон Сама Доброта в сотый раз рассказывал о прошлогодней белой горячке, когда он видел в воздушных санях Ангела Господня, а может, самого Господа Бога. Бумажные скатерти хрустели, как накрахмаленные, горели свечи, самоубийцы были красивы и задумчивы, но на рождественский ужин приходили с пустыми руками. Мы сидели за столом: я, Дон Жуан Лопатка, Фанни Капельмейстер, Королева Красоты, Шимон Сама Доброта, Колумб Первооткрыватель и остальные персонажи, чуть менее колоритные, а именно: Самый Неуловимый Террорист, надменный Сахарный Король, седовласый Ударник Социалистического Труда, ну и самоубийцы. Сестры не спускали с нас глаз, а поскольку — по случаю праздника — уже хорошо поддали, следили за нами с удвоенным вниманием, старательно фокусируя упрямо разбегающийся взгляд.

В прежние времена, в старой Польше, до падения Берлинской стены, когда еще не было

разделения на делирантов, шизофреников и самоубийц, — короче, в те давние времена, когда я в этих стенах восставал из мертвых в первый или в третий раз, страшно сказать, что тут творилось, если какой-нибудь самоубийца пропадал без вести, затерявшись в построенных еще при императоре Франце Иосифе или при царе Николае лабиринтах! Сестры, фельдшеры, врачи, санитары, нянечки, водители «скорых» — все кидались на поиски, даже поварихи карабкались по деревянной лестнице на чердак! Почти никто не сомневался, что несчастный висит там под потолком на стропиле или же со вспоротыми осколком стекла венами истекает кровью в чулане за сушильней. Но на поверку все оказывалось не так. Пропавший самоубийца быстро находился: чаще всего он неподвижно стоял у окна в дальнем конце коридора, глядя через целехонькое полупрозрачное стекло на заснеженные поля, на кирпичные стены то ли австрийских, то ли русских казарм, на клубы дыма, валившего из печей металлургического комбината им. Ленина. С той поры я полюбил самоубийц, полюбил за терпение и сосредоточенность, с которой они разглядывали траву, каменную ограду, сизую тучу, — видимо, им казалось, что удержать в

голове кусок ограды, газона, неба легче, не сходя с места, — типичное, скажем прямо, заблуждение.

На рождественский ужин они приходили с пустыми руками, в пижамах, халатах, у каждого второго — забинтованные запястья. Приводили их сестры из отделения — красивые, стройные и чертовски нервные. Самоубийцы приходили с пустыми руками, но гостеприимства нам было не занимать. Составленные вместе столики, не будь их пластиковая поверхность незыблема, как гранит, прогнулись бы под грузом жратвы. Тут и борщок с отварным картофелем, и треска в панировке, и китайские супы на любой вкус, и всевозможные сыры — сортов, наверное, шесть, не меньше; маринованные огурчики, соленая соломка в неограниченном количестве, чипсы, четыре коробки шпрот, две баночки рольмопса, апельсины, мандарины, яблоки, булочки такие, сякие и шоколадный набор. У кого что было, что кому принесли, что удалось купить в ларьке на первом этаже. Доктор Гранада еще в полдень поделился с нами облаткой, пожелал каждому здоровья и всего наилучшего, потом набросил на плечи видавший виды бараний тулуп, сел в «форд-сьерру» и отправился куда-то в неведомые, никому не нужные и — на наш взгляд — вряд ли

вообще существующие края. Здоровья и всего наилучшего, повторяли мы теперь с ребячьей серьезностью, а самоубийцы, не будучи в состоянии произнести даже эти слова, в ответ лишь с исключительной деликатностью пожимали нам руку, и едва заметная тень улыбки скользила по их романтичным лицам. Мы ели молча, ни витиеватые речи, ни оживленные диалоги не нарушали благоговейной тишины. Один только Сахарный Король в своем изумрудном, цвета вырви глаз, спортивном костюме, как всегда, демонстрировал прискорбное пренебрежение к традициям: он крошил над тарелкой уже третью упаковку китайского супа и с омерзительной сноровкой заливал сухие компоненты кипятком из огромного, с прикроватную тумбочку, чайника.

— Суп — это главное, — разглагольствовал Сахарный Король, — суп — это основа. По всем правилам приготовленный суп — великое дело. Без супа и дом не дом, можно сказать. У нас дома, доложу я вам, у нас дома в сочельник подавали четыре вида супов. Да, да, — повторил он торжествующе, — четыре вида супов: чистый борщок,

борщок с ушками[5], грибной суп и жур[6]. Кроме того, понятное дело, карп, заливная щука, бигос[7], кутья…

Наши головы склонялись все ниже, пепельные кудри Королевы Красоты коснулись бумажной скатерти, Колумб Первооткрыватель вытащил из-за пазухи и принялся листать французский перевод Нового Завета, очередные две сестры ушли, две очередные вернулись с дежурства: наши ангелы-хранительницы, все заметнее входившие в образ, беспрерывно мотались туда-обратно, будто подстегиваемые непостижимой потребностью в постоянном движении, — только самоубийцы сидели не шевелясь, расправив плечи, сосредоточенные, будто олимпийская команда на старте.

— Опять ни к селу ни к городу, — простонал Самый Неуловимый Террорист.

Неуместные монологи были, я бы сказал, специальностью Сахарного Короля: этот господин — на гражданке преуспевающий предприниматель — в любой ситуации умудрялся ляпнуть

---

[5] Примечания: 5
Ушки — вид пельменей с мясной или грибной начинкой.

[6] Примечания: 6
Жур — суп на мучной закваске.

[7] Примечания: 7
Бигос — мясная солянка.

что-нибудь совершенно неподходящее, мало того: не понимая, куда его несет, он выдвигал и развивал весьма рискованные тезисы, когда же, спохватившись, осознавал, какую совершил оплошность, дело принимало совсем уже скверный оборот: грузный шести десятилетний мужчина в изумрудном спортивном костюме от стыда разражался рыданиями; порой его долго не удавалось успокоить. На этот раз он заплакал довольно скоро. Неуместный монолог еще не успел стать архи-неуместным, как обтянутые изумрудным трикотажем плечи мелко затряслись. Сахарный Король закашлялся, захрюкал — со стороны могло 6 показаться, что он подавился, однако нет, то был трагический всхлип: в третью тарелку китайского супа закапали первые слезы.

— Ну ни к селу ни к городу, — повторил Самый Неуловимый Террорист; сквозь брезгливую издевку в его голосе пробивалось что-то похожее на восхищение.

— Ничего подобного, — Ударник Социалистического Труда всегда первым приходил Сахарному Королю на помощь, спеша более или менее искренне поддержать его сомнительные умозаключения, — ничего подобного, просто он знает. Знание и опыт, конкретно; вот я, к приме-

ру, — Ударник Социалистического Труда искусно изобразил оживление и якобы растекающееся по всему его существу блаженство, — я, к примеру, как ни начну пить, всегда первым делом варю здоровущую кастрюлю супа, лучше всего щей…

— Врете вы все, врете во благо человека, — лениво, но убежденно возразил Самый Неуловимый Террорист: на этот раз восхищения в его голосе не почувствовалось, — вы сами человек добрый и потому врете, хотя врать не умеете. Либо начинаешь пить, либо варишь суп. Или — или, как говаривал один философ.

— Я собрался пить, так? — Как это часто случается с добряками. Ударника Социалистического Труда внезапно затрясло от ярости. — Потребность выпить безжалостно во мне нарастала, так? Пока эта потребность не дошла до крайности, я сварил супец, так? Может, не всегда так бывало, но достаточно часто, чтобы я запомнил, как оттягивает глоток щей, пускай даже холодных. Голод — он ведь приходит редко и ненадолго, иной раз и не знаешь, что голоден, не знаешь, что, к примеру, просыпаешься ночью, встаешь, идешь, открываешь холодильник, иной раз и знать не знаешь, что берешь в руки кастрюлю, человек много чего не знает, но оттягивающую

холодную струю в глотке всегда прочувствует. Да и потом, — к Ударнику Социалистического Труда с невротической резвостью вернулось благостное расположение духа, — да и потом, пока выходишь из отключки, без супа не обойтись. Для меня, к примеру, когда я выхожу, нет лучше, чем этап восполнения минеральных солей. А что лучше всего восполняет недобор минеральных солей?

Зазвучала музыка: Дон Жуан Лопатка вынул из кармана губную гармонику и заиграл «Младенца Иисуса». Ударник Социалистического Труда еще долго не умолкал и, постепенно понижая голос, в унисон колядке прославлял супы, богатые минеральными солями; душещипательная мелодия плюс parlando[8] на бытовую тему — странноватый получился дуэт; если бы я эту сцену выдумал, я бы знал, как ее описать, но я там был, видел, слышал — и признаюсь в своей беспомощности. Нехитрая мелодия вырывалась за стены комнаты отдыха, просачивалась в ординаторскую, облетала палаты делирантов, отдельные куплеты проносились через наши дырявые головы, Дон Жуан Лопатка (на гражданке парикмахер и вдобавок музыкант, как он всегда подчеркивал)

---

[8] Примечания: 8
Речитатив *(ит.).*

играл колядку за колядкой, а мы, пустоголовые — да простит нас Младенец Иисус, — ни одной строфы, даже самой первой, не могли пропеть целиком. «Христос родился, — подхватывали мы, — Бог воплотился»; а дальше — ни слова. Возможно, под эту колядку, а может быть, когда Дон Жуан Лопатка играл «Поспешают к Вифлеему пастушки» или «Мы, собравшись на святое торжество, будем в наших песнях славить Рождество», Шимон Сама Доброта принялся в сто первый раз рассказывать про свою прошлогоднюю рождественскую белую горячку. Да, так оно и было — я не на свою дырявую память ссылаюсь, а на толстую линованную тетрадь, куда назавтра, в Рождество (напуганный собственным состоянием, напуганный тем, что я ничего, даже самых известных колядок не помню), стал все, буквально все записывать. Записал от начала до конца рождественский рассказ Шимона — не записал, правда, во время какой именно колядки он начал рассказывать (что, в общем, не столь и важно; а не записал потому, что уже на следующий день не помнил), зато записал, как, словно в детской считалке, накладывались друг на дружку голоса: первый еще говорил, а второй уже начинал подпевать, второй еще не успел закончить, а третий

уже начинал рассказывать.

В прошлый сочельник Шимон Сама Доброта пробудился от неожиданно крепкого сна; давненько он не спал крепким сном, крепкий глубокий сон — несбыточная мечта каждого алкоголика. «Мне лично кажется, — говорил Шимон, ероша прямые светлые волосы и обводя нас вечно удивленным взглядом прозрачно-голубых глаз, — мне лично кажется, что природу белой горячки можно объяснить бессонницей, что делириозное состояние — функция бессонницы. Полно ведь таких, что напьются до посинения, не хуже любого из нас в наши лучшие времена, а то и похлеще, — и что? И ничего. Спят. Кого ни возьми: спит сном праведного алкаша, спит двенадцать часов, спит двадцать четыре часа, спит день, два. Три ночи и три дня спит как убитый и во сне сжигает всю алкогольную дрянь. А тут — сна ни в одном глазу, не идет сон, хоть ты плачь; надравшись, как нечистый повелел, не можешь заснуть или, что еще страшнее, просыпаешься, проспав два-три часа сном без правил, сном бесчувственным, хоть и неглубоким, сном парадоксальным. Просыпаешься через два или три часа — ни трезвый, ни пьяный, встать не можешь, но и лежать невмоготу, роман девятнадцатого

века, чтобы изящная словесность принесла покой, не можешь удержать трясущимися руками, строчки не можешь прочесть, свет режет глаза, а темнота наводит страх, ничего нету вокруг тебя, пустота, ты будто внутри вибрирующей оболочки пустоты, помощи ждать неоткуда, спасения ждать неоткуда, только твоя ползающая, как распутный гад, как поганое пресмыкающееся, рука ищет бутылку, предусмотрительно, да-да, предусмотрительно поставленную в изголовье, и ты поднимаешь с пола бутылку и пьешь с отчаянием в душе, так как знаешь, что теперь уже, кроме плохого, ждать нечего. Пьешь в пустоте, в темноте, в одиночестве, пьешь ради мимолетного и обманчивого облегчения, поскольку из всего наихудшего час сна без правил кажется тебе не самым наихудшим».

Итак, когда Шимон пробудился от неожиданно крепкого сна, он долго недоумевал: что случилось, с чего бы в такую пору и в таком состоянии такой крепкий и спокойный сон? Встал, подошел к окну, отворил окно, была морозная рождественская ночь, близился рассвет. Глянул на небо, а в небе — мириады уложенных ровными рядами бутылок, мириады струй чистого скандинавского «Абсолюта» льются из мириад откупоренных

и тем не менее неиссякающих бутылок, алкоголь слоем толщиной в сантиметр покрывает всё: луну, звезды, снег; космос пахнет чистым скандинавским «Абсолютом». Стекло тихонько позвякивало; потом, как аэроплан, прилетели сани, в санях сидел в золотом спортивном костюме Бог.

— Почему я несчастлив? — спросил Шимон.

— Так получилось, — ответил Бог, — так вышло по всем расчетам. Если бы ты не пил, был бы счастливее, но мало что понимал.

— Я не хочу понимать. Я хочу, чтобы у меня не дрожали руки и сердце не выпрыгивало.

— Вообще-то уже поздно, — Бог сдвинул на затылок золотую бейсболку, — но, если бы ты захотел, если бы захотел, ты бы смог. Проблема свободы воли, — Бог откашлялся, — проблема свободы воли всесторонне описана, мои экзегеты знают побольше моего, что, впрочем, ничему не противоречит: экзегеты обязаны знать всё. Я знаю всё, хотя всего не знаю; например, я ничего не знаю о своем подсознании, и это однозначно доказывает, что оно у меня есть. Есть ли у Бога подсознание? Есть. Есть, поскольку он о нем понятия не имеет, если бы имел понятие, это не было бы подсознанием… — Бог прервался и

заметно помрачнел, горькими, видать, были его мысли. — На каждом шагу, на каждом шагу изнурительные парадоксы… А ведь все так просто, даже проблема свободы воли. — Бог посмотрел на Шимона. — Тебе необязательно все это изучать и читать незачем. Хотя, — Бог сделал паузу, — хотя Августина почитать стоило бы, когда отходняк не очень крутой… Вообще-то уже поздно, но ты бы смог, если бы захотел. Усилий потребуется гораздо меньше, чем тебе кажется, главное — взяться за дело и довести его до конца. Когда тебя колотит и ты говоришь себе: я должен выпить, — подумай, что ничего ты не должен, скажи себе, что не должен, и так и сделай: не принуждай себя пить. Само выражение «должен выпить» означает, что ты пьешь по принуждению, — а ты не заставляй себя, вернее, заставь себя не принуждать себя. Не пей на следующий день. Всего-то навсего: на следующий день не пей. Не пей на следующий день ни утром, ни днем, ни вечером. Ты не обязан пить. Не пей на следующий день — этого будет достаточно. Привет, — Бог причмокнул, и сани потихоньку тронулись, — пока. Мы сейчас в милосердии своем отправляемся в другие горячие точки земного шара.

На этот раз Шимон Сама Доброта (на граж-

данке студент юрфака) рассказывал о встрече с Богом, хотя в иных, предыдущих версиях этой истории в воздушных санях сидел либо Ангел Господень, либо Николай Угодник, либо один из волхвов, нетипичным способом поспешающий в Вифлеем. Точно сказать, кто это был, Шимон не мог — лишь через год, когда он свихнется, когда возомнит себя Иоанном Крестителем, когда будет в непогоду, зной, метель мотаться в отрепьях по всей Польше, предсказывая Второе Пришествие и пророча миру погибель, лишь через год он, отбросив сомнения, уверится, что тогда в санях сидел ангел, тот самый Ангел Господень, который сказал Захарии: «Сын твой не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится».

Посланец небес отдалялся и исчезал в морозной дали, а у Шимона в груди будто лавина обрушивалась — мягкая добрая лавина; поплыли тихой чередой ласковые облака. Он отчетливо ощутил у себя внутри движение и впервые подумал, что все, что в нем есть, — свято. «Даже если я слышу только, как бежит по жилам кровь, это тоже означает, что я — избранный». Но то был не шум бегущей по жилам крови, не коварные скачки артериального давления, не спазмы сосудов, предвещающие инсульт, и не грудная жаба

то была, не лихорадка, не трясучка. Мельница Господня медленно раскручивалась у Шимона в душе, он же ясно осознал, что его ждет нелегкий труд, что отныне он обязан служить небесным ветрякам и ангельским жерновам, явленным в глубине его души.

Мы сидели за столом: я, Дон Жуан Лопатка, Фанни Капельмейстер, Шимон Сама Доброта, Колумб Первооткрыватель и прочие, чуть менее колоритные персонажи. Дон Жуан Лопатка, на гражданке парикмахер и вдобавок музыкант, спустя несколько месяцев умрет; я приду на его похороны. Шимон Сама Доброта свихнется, пепельные кудри Королевы Красоты вскоре полностью обратятся в пепел, Колумб Первооткрыватель, на гражданке профессор общественных наук, попытается вернуться к прежней, несуществующей жизни; возможно, это ему удастся.

Да, да: на гражданке, на гражданку, я с отчаянным упорством повторяю это солдатское словечко, наша жизнь до того, как мы начали пить, была гражданской жизнью, в той жизни дома наши не рушились, живы были наши матери, с нами были наши жены, невесты, дети. В той жизни мы обедали, завтракали, ужинали. Различали вкус блюд, пору дня и времена года.

Засыпали по вечерам, просыпались утром, ходили на службу, пока огонь пожара не перекрыл все пути. Город стоял понятный и незыблемый, на улицах витал запах кофе и выхлопных газов, молодая женщина в желтом платье останавливалась перед витриной; мы существовали — даже если нам это только казалось. Мы читали газеты, заходили в книжные магазины, слушали музыку, лакомились эскимо в шоколаде, бегали на футбольные матчи, ездили на трамваях. Но все это прошло, кануло в Лету; который уже год шла страшная война, мы были солдатами загнанной в котел самозваной армии, мы были побеждены, но, вопреки здравому смыслу, не сдавались, нам давно некуда было отступать, из дому не приходило никаких известий, темное кольцо адских сил неумолимо сжималось. Мы засыпали где ни попадя, упершись лбом в бруствер, нас будила канонада сердца, мы уже не помнили, когда в последний раз переодевались, и питались чем бог пошлет, только наши фляжки каким-то чудом всегда были полны, мерзопакостный самогон поддерживал нашу быстро укорачивающуюся жизнь. Дон Жуан Лопатка опять взял губную гармонику, и зазвучала мелодия незнакомой, забытой колядки, когда-то я ее слышал, кто-то

из моих близких пел эту колядку, аккомпанируя себе на пианино. Может, ее распевал мой дед, Старый Кубица, шагая по протоптанной в снегу тропинке? Может быть, ты мурлычешь ее, ставя пустую тарелку на белую скатерть? Может быть, черный с единственной белой отметиной кот слушает эту колядку на подоконнике в опустевшем доме?

Я отчетливо, как во сне, слышу: в этой музыке — сила подкрадывающейся смерти и сила, не подпускающая смерть, позволяющая истинному писателю отвращать ход событий. Я хочу на последней странице толстой тетради еще описать (дабы потешить собственную гордыню) самое сложное: историю человека, который поднимается, собирается с силами и из рискованной метафоры страшной войны выходит целым и невредимым, выходит победителем. Я хочу писать книги, которые помогают преодолевать слабость укрепляют дух, как колядки Дон Жуана. Я принимаю пожелания здоровья и всего наилучшего, мне это нужно, мне нужен душевный покой, легкость пера, ровное биение сердца. Дон Жуан Лопатка играет так, будто — спустя несколько месяцев — воскрешает самого себя из мертвых, за окном видны заснеженные поля,

темные стены то ли австрийских, то ли русских казарм, тепло из печей металлургического комбината возносится прямо к Вифлеемской звезде. Мы сидим за столом вперемешку с самоубийцами, и разомлевшие сестры не спускают с нас глаз. Из-под белых наколок наших ангелов-хранительниц в беспорядке выбиваются пряди волос, их жесты обретают хорошо нам знакомую плавность, манящие огоньки загораются в их глазах. Стройные красавицы из отделения для самоубийц встают и первыми приглашают нас на рождественский танец.

17. Письмо из отделения для делирантов

(Начало неразборчиво даже для адресата, бумага скверная, в клеточку, формат А4, вечное перо, почерк корявый, чернила синие.)

…целых пять месяцев. Когда я им говорю, что избавляюсь от пагубного пристрастия ради Тебя, они только глядят презрительно. Когда говорю, что избавляюсь от пагубного пристрастия ради нас — глядят презрительно; тогда я надолго умолкаю, потому что мне известно, чего от меня ждут кровожадные ординаторши. Я бросаю пить ради себя, говорю якобы после некоторого раздумья, и хорошо, что они не догадываются, какие чувства вызывают во мне своими одобрительными улыбками. Они этого не знают, хотя им следовало бы знать, в конце концов, они мастерицы придумывать чувствам названия и нас этому обучают: как называть чувства. Мы, видишь ли, страдаем болезнью чувств. Делиранты не способны ни определять свои чувства, ни управлять ими. В данном — единственном — случае это вроде бы даже верно: я не могу сказать, что за чувство,

большее чем любовь, я к Тебе испытываю. И я уверен, что избавлюсь от своего порока, сброшу его, как сбрасывает кожу змея. Боже мой, если бы какая-нибудь из ординаторш прочитала эту фразу — она бы умерла от негодования.

— Ничто не получается само собой, никто за тебя этого не сделает, ты все должен сделать сам.

— Так точно, я буду бороться с собственной слабостью.

— Бороться? Ты будешь бороться? С кем? С этим чудовищем, которое сильнее тебя и наверняка тебя одолеет? Ты вынужден будешь сдаться. Кого ты намерен победить? Голоту?[9] Алкоголь ведь подобен Голоте: шансов на победу у тебя никаких, волей-неволей придется признать свое поражение.

Вот такие разговоры здесь ведутся, такие восклицания, будто жаркая мольба, возносятся к хмурому июльскому небу. Ключевые слова и излюбленные присказки ординаторш: алкоголь подобен Голоте, или алкоголь подобен Тайсону, или делирий — это навечно, как отрезанная нога, или делириозное состояние сродни демократии; такие вот у наших кровососок любимые при-

---

[9] Примечания: 9
Анджей Голота — знаменитый польский боксер.

сказки; а еще они с маниакальным упорством заставляют нас говорить только от первого лица. Я, я, я. Не дай бог употребить безличный оборот. Не дай бог сказать «человек». Не дай бог сказать «бес». Не дай бог употребить множественное число.

— Я потерял деньги, то есть меня обокрали, — говорит запутавшийся в жизни Янек, которого из-за ярко выраженной склонности везде и всюду наводить порядок прозвали Ударником Социалистического Труда, — ну тут и началося.

— Что началося? — выпытывают добела раскаленные ординаторши, нажимая на безличную частицу «ся». Что «началосссся»?

— Запой начался. Пошло-поехало, — говорит Янек, а они разражаются диким смехом и выкрикивают:

— Запой начался! Сам собой! Что пошло? Куда поехало? А пил-то кто? (Сатанинский взрыв смеха.) Кто пил?

— Я пил, — тихо, как пристыженный ребенок, говорит Янек и, на свою беду, добавляет: — Пьешь, конечно, по-страшному пьешь, где уж человеку тягаться с этим бесом, сколько, к примеру, было с соседом выпито, мы с соседом по полной программе…

Кровососки, отсмеявшись, с жаром принимаются наставлять Ударника Социалистического Труда: вместо «пьешь» нужно говорить «пью», вместо «человек» нужно говорить «я», вместо «бес» — «алкоголь», и не «мы с соседом по полной программе» нужно сказать, а привести количество, дату, место. И в заключение еще пару раз отчеканивают: «не выпито», а «я выпил».

Как Ты догадываешься, в душе я с ними горячо полемизирую, хотя и понимаю, что безуспешно, очень уж разные у нас позиции: ординаторши стремятся свести реальность к трезвости, я стремлюсь свести реальность к литературе, и в некой точке — ничего не попишешь — наши пути расходятся. Я отдаю себе в этом отчет, однако продолжаю спорить. Общеизвестно, разглагольствую я мысленно, что частица «ся» характеризует личность и дает более полное и объективное представление о нашей личности, нежели при использовании откровенного и оттого беспомощного «я». Есть книги, целиком так написанные, от начала до конца — только безличные обороты: гулялось, думалось, спалось. А первое лицо единственного числа? Да я погрязал в этом лице и числе по уши, по самую макушку. Я с ног до головы заляпан первым

лицом единственного числа. И что? Вопреки надеждам кровососок это отнюдь не гарантирует достоверности и искренности саморазоблачения. Первое лицо единственного числа — элемент литературного вымысла. Бог мой, какое же это счастье: доверившись интуиции, именно сейчас провозгласить конец литературы и с чистой совестью говорить попросту — я.

Я всю жизнь Тебя искал, я исходил вдоль и поперек Желязную, Злотую, Иоанна Павла, весь мир обошел, но отыскала меня Ты. Написала письмо, я ответил, и уже наши письма — мы тогда этого не заметили — бросились друг другу в объятия: наши фразы переплетались, наши почерки сливались, наши чернила смешивались так же беспрепятственно, как соединяются моя и Твоя кровь. Я искал предсмертную любовь, а нашел любовь, дарующую жизнь. Любовь, про какую не написано ни в одном стихотворении, ни в одном романе. Любовь сильную, как колядки Дон Жуана. Я и не подозревал, что на свете может существовать такая любовь. Аля-Альберта, ты появилась в ту минуту, когда я поставил на своей жизни крест. Да, по меньшей мере два последних года я не видел особого смысла жить дальше, мне казалось, я получил едва ли не все,

что хотел получить. Я написал то, что написал, и знал, что впредь буду лишь с большим или меньшим успехом повторять то, чему меня научил опыт. Человек пишет книгу, полагая, что, если книга попадет к людям, мир изменится — а это, уверяю Тебя, величайшее заблуждение. Писать же, не веря, что написанное тобой преобразит мир, нельзя.

Я встречался с красивыми женщинами, выпил море горькой желудочной, трудился как вол и погрязал в лени, слушал музыку (больше всего мне здесь недостает музыки), читал классиков, ходил на футбольные матчи, молился в своей лютеранской церкви и воображал, что знаю о нашем мире столько, сколько мне дано знать. Я считал, что полон до краев, а был пуст, пуст как медь звенящая. (Как сказано в Священном Писании: хоть бы и пить перестал, а если любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий.) Покончить с собой? Да, да, я думал о самоубийстве (всякому нормальному человеку случается хоть раз в жизни подумать о самоубийстве, как написал, кажется, Камю, — я зачитывался им, когда Тебя еще не было на свете), но в тех же нереальных категориях, в каких думал о бесповоротном отказе от горькой желудочной. Сколько же я размышлял

о том, что пора завязывать с горькой желудочной! И что? А ничего. Я воображал, как откажусь от горькой желудочной, и спокойно или жадно (скорее жадно) продолжал пить эту мерзкую, хотя с легкостью проскакивающую в глотку жидкость. Я подумывал о самоубийстве, но спокойно или бурно (скорее бурно) жил дальше. Мое пагубное пристрастие обещало мне скорую, реальную смерть — на это я и надеялся. Как говорит одна из здешних мудрых врачих (ибо есть врачихи мудрые и врачихи неразумные — как в Библии есть девы мудрые и девы неразумные; в следующем письме я приведу соответствующую притчу о врачихах мудрых и врачихах неразумных), так вот, мудрая ординаторша Кася говорит, что делирант скорее убежит в мир иной, чем признается в своем бессилии перед алкоголем. Настоящий мужчина может от водяры помереть, но сдуреть не имеет права, как говаривал покойный пан Тромба. И я с этим соглашался, я готовился к побегу в мир иной. Не скажу, что я составил такой же четкий план, как Шимон Сама Доброта, который загодя знал — и не скрывал своих намерений, — что после побега из отделения убежит, так сказать, окончательно, через неделю, через месяц, самое позднее через три года. Я даты не

устанавливал, готовился спустя рукава. Но когда прочитал Твое письмо, когда услышал Твой голос, когда впервые Тебя увидел, я понял, что черная петля, все туже затягивающаяся у меня на шее, неизбежно лопнет. Я понял, что эта черная нить порвется гораздо раньше, чем изорвется в клочки мое сердце. Я понял, что ждал Тебя всю свою жизнь. (Из которой по крайней мере двадцать лет вынужден был ждать, пока ты подрастешь.) Но Ты пришла. Ты есть. (Да. Она есть.)

Не было на Тебе желтого платья на бретельках, когда я впервые Тебя увидел. В черной блузке и серых брюках Ты сидела за столиком в холле гостиницы и нетерпеливо поглядывала в окно. Я опоздал на целых восемь минут. Я обнял Тебя с такой непринужденностью, будто всю жизнь только Тебя и обнимал.

«Разве мы так хорошо знакомы?» — спросила Ты. «Еще лучше», — ответил я и до конца дней буду гордиться своим ответом. Тебя конечно же не звали Алей-Альбертой; имя у Тебя такое, каким, я всегда мечтал, должно было быть, плечи такие, какие мне хотелось, чтоб у Тебя были, глаза зеленые — и еще какие зеленые, руки специально для меня сотворены Богом. Ты красива и умна.

Я… я счастлив. Разумеется, о том, что я счастлив,

здесь никому говорить нельзя, признаться в этом я не могу даже своей врачихе (как Ты правильно догадываешься, это Кася), даже в своем дневнике чувств я не могу написать, что чувство, мной овладевшее, — счастье. Счастливый делирант немедленно вызывает страшные подозрения, у счастливого делиранта очень скверные перспективы.

Хорошие перспективы у делиранта вконец опустившегося, делиранта, впавшего в депрессию, погруженного в отчаяние. Белая горячка, кажется, единственная болезнь, при которой отвратительное самочувствие пациента вселяет надежду. Истинный, полноценный делирант должен пребывать в состоянии непреходящей абстяги, испытывать непреходящую тоску по бутылке горькой желудочной, психически ощущать себя на дне, в аду.

Мне здесь не хватает музыки. Лето пасмурное, но выпадают и солнечные деньки — тогда я, влекомый неведомой силой, брожу взад-вперед по одичавшим садам, среди которых стоят корпуса психушки. Иногда из-за окон, забранных решеткой, доносится пение. В полдень наружу высыпает толпа шизофреников и самоубийц, к небу взмывает монотонная мелодия нечлено-

раздельного бормотания. Вчера на центральной аллее я столкнулся с самоубийцей, тащившим на плече огромный радиоприемник на батарейках, который он судорожно прижимал к уху. Уже за несколько шагов слышен был льющийся из приемника завораживающий низкий голос, исполняющий хит сезона — песню о шелковой шали. Мне вспомнился Дон Жуан Лопатка, мой любимый персонаж и близкий человек, и я вновь почувствовал пронзительный холод последних минут… Боже, позволь мне быть с нею как можно дольше.

Мы сидели за столиком бара в холле гостинице, Ты пила зеленый чай, я пил пиво — возможно, последний раз в жизни (в жизни — не перед смертью). Мы сидели и смотрели друг на друга, и эти первые неотрывные взгляды проникли к нам в кровь. Впредь наши головы на подушках всегда будут повернуты так, чтобы мы могли без конца смотреть друг на друга. Даже отсюда я все время Тебя вижу. Моя голова повернута к Тебе, и Ты тоже видишь меня, я знаю, Ты сейчас тоже смотришь в мою сторону — и это придает мне сил. Ты вселяешь в меня силу, о чем здесь никто не должен даже подозревать. Моя сила — моя тайна. А одна из любимых присказок ординаторш:

болезни в тебе столько же, сколько тайны. Это — согласись — страшная, страшная фраза. Делиранту по здешним правилам разрешается жить при условии, что он позволит себя выпотрошить, хуже того: что он сам, следуя профессиональным указаниям, выпотрошит себя. Кишки, потроха, тревоги, страхи, дурные мысли и робкая надежда, кошмарные сны, бесцветное нутро — всё наружу. Твоего Бога — наружу, твой секс — наружу, твою блевотину — наружу. (Да, тема одной из самых популярных здесь исповедей: «История моей похмельной рвоты». Как Ты догадываешься, я не без удовольствия отвел дюжину страниц истории своей блевоты: со смаком описал, как я скидывал перцовку при Тереке, водку по талонам при первой «Солидарности», самогон во время военного положения, детально описал, как при Ярузельском моя голова болталась над унитазом; в конце, к сожалению, эссе грешит некоторым тематическим, а также эстетическим однообразием: как при Валенсе, так и при Квасьневском я скидывал исключительно горькую желудочную. Увы.)

Надеюсь, свойственная мне избыточность (в том числе стилистическая) Тебе не наскучила. Я пишу примерно так, как писал бы из Сибири или с Лубянки, а ведь Ты всего в каких-то трехстах

километрах от меня. Сегодня мы говорили по телефону, через несколько дней Ты ко мне приедешь, мы пойдем на Утрату. Через несколько недель мы будем вместе — навсегда.

Когда я говорю, что бросаю пить ради Тебя, я говорю правду. Когда я говорю, что бросаю пить ради нас, я говорю правду. Ибо меня нет без Тебя, меня нет без нас. Мое «я» уже не единственного числа. Я перестаю существовать, когда Тебя нет, каждое расставание — конец жизни. (Помнишь, как мы оба плакали на Центральном вокзале? Как Ты бежала за вагоном?) Нас должно разделять не больше десяти метров, а дальше уже все равно — в километре Ты или в трехстах километрах отсюда. (В трехстах километрах от моих объятий.) Дальше — бездна, и все, что внутри, очень… (Конец рукописи может разобрать только адресат.)

18. Доктор Свободзичка

Я лежу в огромной, как трансатлантический лайнер, родительской кровати, брежу, хотя не знаю, что такое «бредить», ощущаю запах спиртного, хотя не знаю, что это запах спиртного, надо мной склоняется доктор Свободзичка. Пары спирта, исходя из всех чакр, окружают его лучезарным ореолом. Страшен доктор Свободзичка, страшен, как шаман из приключенческого романа. Точно карающий ангел, идет он по главной улице с врачебным саквояжем в руке, бредет среди метровых сугробов, точно мифический снежный человек, кренится то на один бок, то на другой, точно Летучий Голландец. Пьет дико, до невменяемости. Самоубийцам с ним ой как несладко.

Еще год или даже месяц назад я бы написал, что доктор Свободзичка пил, как Консул[10], совсем еще недавно я бы привел такое сравнение, но сейчас, отчетливо осознав, что литературе пришел конец, сейчас истины ради я отказываюсь от этой эффектной конъюнкции. По сравнению

[10] Примечания: 10

Консул — герой романа канадского писателя Малколма Лаури «У подножия вулкана».

с доктором Свободзичкой Консул — бледный литературный образ (что неудивительно: первый — существо из плоти и крови, второй — бесплотный продукт вымысла); если же говорить об уровне профессионализма, то Консул рядом со Свободзичкой все равно что хмелеющий от бокала вина гимназист рядом с Консулом. Доктор пил горькую, то есть убивал себя, убивал неутомимо и систематически и, видимо, поэтому самоубийц ненавидел и презирал. Его самоуничтожение было деловитым, методичным и гармоническим, они же кончали с собой внезапно, небрежно, неряшливо, пренебрегая поэтическими канонами. Да, при докторе Свободзичке вислинским самоубийцам приходилось несладко. Страшные проклятия обрушивались на их удавленные головы, доктор грубо вскрывал трупы, осыпая стынущие тела бранью и оскорблениями; проводя, например, пальцем по синей полосе на шее молодого Ойермаха, он приговаривал:

— Повезло тебе, малый, повезло, что помер, иначе бы я тебя придушил.

Возле головы покойника сидел черный волкодав и бил хвостом, разметая ноздреватый февральский снег; остатки пенистого пива капали у него из пасти.

Доктор Свободзичка неутомимо шагал по извилистой тропе к недосягаемой вершине, пребывая во хмелю двадцать четыре часа в сутки. Он поглощал гектолитры чистого спирта, был великим знатоком местного самогона — густого, темного и горючего, как керосин, мог побиться об заклад, что выживет, выпив за вечер шесть бутылок пасхальной сливовицы, и запросто выигрывал: не только оставался жив, но и самостоятельно, хотя с чрезмерной величавостью поднимался со стула. Нахлебавшийся пива черный волкодав вылезал из-под дубового стола и нетвердым шагом следовал за хозяином.

Каковы были ночи и утра доктора, мне нетрудно представить: страшные, невыносимые кошмары, слишком громкие голоса, слишком осязаемые призраки. Ни принять, ни стерпеть, ни утопить в вине эту дикую орду, конечно же, было невозможно — и доктор Свободзичка, видя, что его мучениям поистине гомеровского масштаба нет конца, и осознавая свое бессилие, в отчаянии прибегал к крайней мере. А именно: обращался к морфию и поступал так ради усмирения боли (а не ради умножения опыта, ясное дело), хотя прекрасно знал, что если после первого укола все страдания (так, по крайней мере, покажется)

как рукой снимет, то этот первый укол спустя короткое время, через минуту, а по правде говоря, моментально потребует второго укола, а после второй дозы, самое позднее после третьей начнутся кошмары еще более страшные, зазвучат голоса еще более оглушительные, осязаемые призраки подступят еще ближе. Доктору Свободзичке известно было, как действует простой, но беспощадный механизм отключения сознания, он был превосходным врачом и не сомневался, что справится, — однажды он именно об этом (что справится) побился об заклад сам с собою и… проиграл.

Мама в ту пору была молодым вислинским провизором протестантского (аугсбургско-евангелического) вероисповедания, ей часто приходилось дежурить ночью, и в самые темные часы, в три или четыре утра, ее не раз будил протяжный звонок, панический стук в дверь и ритуальный возглас:

— Пани магистр! Пани магистр! Острый случай, требующий незамедлительного вмешательства! Случай, абсолютно не терпящий отлагательств!

За стеклянной дверью покачивалась грузная фигура, у ног которой стоял на страже пес. Доктор Свободзичка трясущейся рукой протягивал

рецепт, где было начертано магическое, сулящее облегчение, а возможно даже эйфорию, заклятие: «Morph. Hydr. 002». Голос натурально дрожал: доктору даже не приходилось изображать, будто он у него судорожно срывается.

— Пани магистр… В Замке сейчас находится первый секретарь товарищ Владислав Гомулка, у него внезапно начались колики, боли ужасные, глава государства корчится в муках, меня вызвали… Сами понимаете, дело государственной важности…

В первый, а то и в третий раз («Пани магистр, в Замке сейчас находится премьер Юзеф Циранкевич, у него внезапно начались колики…») это сногсшибательное заявление могло даже показаться правдоподобным. Замок, до войны принадлежавший президенту Мосьцицкому, теперь действительно служил загородной резиденцией чиновникам высшего ранга: не однажды в сумерки нам случалось видеть кавалькады «волг» и «чаек», медленно катящих по дороге на Кубалёнку; свет фар выхватывал из темноты бронированные кузова. Присутствие по соседству государственных деятелей (фантастические кортежи, туманным утром ползущие по лесистым склонам, означали, что представители централь-

ной власти вкупе с сопровождающими лицами отправляются по грибы), близкое соседство и даже внезапное недомогание премьера или первого секретаря (хотя, согласно доктрине, они относились к разряду сверхчеловеков и, следовательно, были бесплотны) еще могли показаться правдоподобными, однако, если верить Свободзичке, получалось, что Гомулка и Циранкевич (ниже доктор, как правило, не опускался) постоянно проживают в Замке и вдобавок их регулярно, с небольшими перерывами, прихватывают колики. Поэтому вскоре — и даже еще раньше — в этом вопросе наступила полная ясность. Да и сам Свободзичка со временем перестал заботиться о правдоподобии своей версии событий: автоматически отбарабанив тираду о Замке, государственном муже и коликах, он предъявлял рецепт, брал ампулы, садился на ближайшую скамейку посреди рыночной площади, открывал сумку, доставал шприц и, проколов иглой брючину, ловко вводил его содержимое в мышцу бедра. Великий доктор Свободзичка — доктор Морфий, доктор Кодеин, доктор Сивуха, доктор Никто.

Вислинцы по сей день прославляют в песнях его врачебное мастерство, в Висле и сегодня можно услышать рассказы об остановленных

им эпидемиях, о неизлечимых болезнях, которые он излечивал, о безошибочных диагнозах, которые он без малейших колебаний ставил. Выгорала его душа, слабели конечности, все менее членораздельной делалась речь, но врачебное мастерство от этого не страдало. Пожар пагубного пристрастия уничтожал в нем все, кроме профессионального умения. Он с превеликим трудом вставлял в уши фонендоскоп, однако укрывшийся в лабиринте внутренностей крысиный писк недуга слышал превосходно; рука его, выписывая рецепт, дрожала, однако выписывал он именно то, что нужно. Если он кого-то направлял в больницу — это было необходимо, если прописывал антибиотик — антибиотик действовал, если велел полгода собирать и заваривать дубовую кору и ежедневно пить отвар — известно было, что полугодовой курс лечения поможет. А еще он с необычайной точностью предсказывал хронологию развития болезни. Через семь дней полегчает, через десять дней пройдет, через две недели встанешь на ноги, говорил доктор Свободзичка, и все было так, как он говорил: через семь дней легчало, через десять дней проходило, через две недели больной вставал на ноги. Когда доктор ушел на пенсию (а пенсионером он пожил

недолго), когда свое предсмертное пребывание на свете свел к ежедневному пребыванию в пивной «Пяст» — даже там к его столику выстраивалась очередь. Свободзичка появлялся в «Пясте» ровно в семь утра в сопровождении черного волкодава, залпом выпивал целительные сто грамм, мелкими глотками запивал их пивом, псу, занявшему свой пост под столом, щедро наливал в жестяную миску пива и, подняв руку, царственным жестом позволял приблизиться первому пациенту.

Я болел всеми болезнями. Болел постоянно. Болел рьяно. Болел остервенело. Я обожал визиты доктора Свободзички, я вдыхал запах медикаментов и спиртного, я наслаждался смятением, в которое доктор неизменно повергал домочадцев. Он сбрасывал бараний тулуп, закуривал в заботливо проветренной мамой спальне, вставлял в уши фонендоскоп и принимался меня выслушивать. Дыши. Не дыши. Вдохни глубже. Он затягивался, выпускал клубы дыма, заходился хриплым, будто со дна колодца, кашлем заядлого курильщика.

— Н-да, — говорил он, — кашель, опять кашель…

— Да ведь он не кашляет, доктор, — вмешивалась белая как полотно и близкая к обмороку

мама.

— Это не он, это я кашляю, — Свободзичка не прерывал обследования, — я кашляю и решительно не знаю, что делать, не проходит, и все тут. — Доктор резким движением выдергивал из ушей фонендоскоп, подходил к столу, доставал бланки рецептов. — Он начнет кашлять через два дня. Через два дня начнется кашель. А через семь дней, то есть в целом через девять, кашель прекратится. Сколько ему лет?

— Девять, — говорила мама, и в голосе ее явно ощущалось облегчение.

Доктор глядел на меня испытующе.

— Девять лет, девять лет, самое время присмотреться к миру, самое время определить свои симпатии. Скажи, Ежи, кто тебе больше нравится: католички или протестантки?

— Католички, — отвечал я не раздумывая, окрыленный появившейся наконец легальной возможностью поговорить о женщинах. — Католички, а больше всех Уршуля и Альдона.

— Ты совершенно прав, — произносил он со смертельной серьезностью и, немного помолчав, добавлял длинную загадочную фразу; прозвучавшее в этой фразе ключевое, по-видимому, выражение «экуменические устремления» я

не только не понимал, но и почти не слышал, поскольку мама пантерой бросалась к столу, заслоняла меня своим телом, заглушала слова доктора истерически-настойчивым приглашением перейти на кухню; минуту спустя оттуда доносился неземной звук — звон извлекаемых из буфета рюмок.

Домыслов о том, что он сам себе укорачивал жизнь и по этой причине относился к самоубийцам с неприязнью и презрением, доктор Свободзичка — я уверен — никогда бы не подтвердил. Ни намеком, ни жестом не показал бы, что видит в их отчаянии искаженное по форме, но верное по сути отражение собственного состояния. Его якобы всего-навсего возмущало, что наши самоубийцы отправлялись в горы или в лесную чащу и там исчезали, подыскав себе в недоступных дебрях подходящий буковый (леса у нас смешанные) сук. А ведь им следовало бы позаботиться о том, чтобы не слишком обременять живых, им бы следовало — дабы упростить неизбежные посмертные процедуры — вешаться на опушке.

Взять, к примеру, молодого Ойермаха. Никому в голову не могло прийти, что такое случится. Неделей раньше мы с отцом у них побывали:

светлый просторный дом на холме, свежеоштукатуренные хозяйственные постройки, куриная ферма и прочие богатства; благополучные и зажиточные Ойермахи первыми в наших краях приобрели телевизор, потому мы туда и пошли — по телевизору показывали матч «Гурник» — «Тоттенхем» (4:2 в пользу «Гурника»). Мы сидели на плюшевом диване, пили чай, старый Ойермах на втором этаже играл на пианино, молодой вместе с нами смотрел футбол, ангельски прекрасная жена молодого в тяжелом парчовом платье сновала по комнатам, сонный малыш тихонько играл на изумрудном, как Ориноко, ковре, во дворе кудахтали куры, «Гурник» поначалу даже вел 4:0, после матча мы пошли домой, темнело. Через семь дней той жизни пришел конец. Через семь дней молодой Ойермах помешался, убил жену и ребенка и убежал в лес на Яжембатой и там повесился в недоступном месте.

Доктор Свободзичка ругался на чем свет стоит, сыпал проклятиями, утирал пот со лба, грозился, что это последний самоубийца, к которому он идет. Странное дело: самоубийц он ненавидел, но тем не менее откликался на первый зов, без промедления являлся куда надо даже посреди ночи. (Легок на подъем он был, конечно, благодаря

бессоннице; пагубное пристрастие к зеленому змию — как сказал бы Шимон Сама Доброта, — неумолимо ведет к бессоннице, а бессонница усугубляет это пристрастие.) Можно также предположить, что доктор очень любил зимой ездить в самые отдаленные долины, ведь поездка на санях в метель и мороз не могла обойтись без чего-нибудь горячительного: как иначе уберечь спасательную экспедицию от замерзания?

Всюду он ходил, всюду ездил. Любым бедолагой готов был заняться, а вот молодым Ойермахом и другими отчаявшимися, висящими на других деревьях, заниматься не хотел. Ругался и клял их последними словами. Я верю, мне хочется верить, что не только от страха, а специально, для профилактики, он проклинал тех, кто уже это сделал, дабы те, в чьих израненных душах еще только зрел подобный замысел, знали: если они так поступят, им не избежать недоброго слова и презрения и страшных проклятий доктора Свободзички.

Я знаю: он не хотел идти, потому что боялся. Боялся сладкого, упоительного соблазна лесистых склонов. Душа его была сожжена дотла, но искра сознания не гасла, он понимал, что стоит ему обернуться, и его неумолимо потянет в

глубь смешанных лесов на Чантории, на Стожке, на Бараньей и Яжембатой. Он отчетливо видел тропки, сперва взбирающиеся вверх, а по другой стороне склона сбегающие вниз. Обезумевший от горя черный волкодав носится взад-вперед, отыскивает в конце концов путь, безошибочно ведущий к пивной «Пяст», залезает под стол, лакает теплое пиво из жестяной миски и тщетно ждет своего господина и повелителя — аминь.

19. Дочери Королевы

Управившись с газетами, я брался за книги; в процессе внимательнейшего, вдохновенного чтения газет во мне, случалось, пробуждались угрызения совести интеллектуального свойства: зачем я попусту трачу время, зачем забиваю мозги газетной жвачкой? — и тогда в промежутках между глотками я обращался к тому или иному классику, например, раскрывал наугад «Исповедь философа» Готфрида Вильгельма Лейбница, читал ее, и спьяну мне казалось, что я все понимаю. Читал «Моби Дика» или «Волшебную гору», и наступало просветление, и я приходил в восхищение, и мое пьяное восхищение, подобно пьяному просветлению, было всеобъемлющим и безграничным. Читал Бабеля или Мицкевича, и спьяну так отчетливо слышал каждую фразу, что готов был, не протрезвев, писать продолжения рассказов, прибавлять к поэмам новые строфы.

Классика, как обычно, лежала на дне побоища. Я поднимал с пола «Сумму теологии»[11], «Воскресение» и антологию англосаксонской

---

[11] Примечания: 11
«Сумма теологии» — основной труд Фомы Аквинского.

поэзии, поднимал, расправлял обложки и даже проглаживал утюгом загнувшиеся страницы — поднимал, пылесосил, разглаживал и ставил на место. Сложив газеты, расставив книги на полках, я продолжал уборку, выбрасывал окурки, мыл посуду, менял постельное белье, склонялся над ванной и стирал с таким рвением, словно сам себя хотел наказать за отсутствие автоматической стиральной машины и — качеством своей ручной стирки — превзойти стиральную машину, словно стремился лишний раз доказать вечную истину: что человек совершеннее самой совершенной стиральной машины — не только автоматической, но даже снабженной компьютером новейшего поколения; человек вообще совершеннее самого совершенного компьютера. Конечно, во многих областях компьютер способен превзойти человека, в свое время, например — я читал об этом когда-то в промежутках между отключками, — компьютер обыграл в шахматы гроссмейстера Гарри Каспарова, по каковому поводу человечество или уж по крайней мере значительная его часть впала в уныние: победа компьютера на шахматном поле якобы предвещала и другие победы машин, очередные, неизбежные и все более масштабные унизитель-

ные поражения человека в схватке с машинами, что в ряде случаев и вправду возможно — быть может, еще не на одном поприще не одного гроссмейстера компьютер положит на обе лопатки, но, по моему скромному нетрезвому разумению, пока не найдется такой компьютер, который сумеет выпить больше, чем человек, человечеству нечего опасаться. Вот, пожалуйста, я, специалист, я, виртуоз, готов это доказать! Пожалуйста, я, мастер, я, гроссмейстер, принимаю вызов! Дайте мне сконструированную великими умельцами машину, дайте мне компьютер с небывало высоким уровнем интеллекта, и пусть память его будет беспредельна и его галогены светят ярче тысячи солнц, пусть он будет размером с многоэтажный дом, пусть будет запрограммирован на беспробудное пьянство, пусть ему не грозит алкогольная зависимость, пусть никакой сивухе не под силу будет его свалить, пусть у него будут специальные подпрограммы, позволяющие всегда держать ситуацию под контролем, пусть его мозг будет мощным, как мартеновская печь, и пусть ему будет дано право выбирать напиток. Поставьте между нами ящик с бутылками по его выбору, и пусть арбитр подаст знак — очень скоро вы станете свидетелями триумфа Человека.

Сколько компьютер будет пить ноздря в ноздрю со мной: месяц, два месяца, полгода? Рано или поздно, в очередных предрассветных сумерках, рано или поздно, после очередной спасительной опохмелки, еще до того, как спиртное разойдется по моему организму, до того, как я успею встать, размяться, порозоветь и произнести вслух первую гениальную мысль, он погаснет, рухнет, потеряет сознание и выблюет весь свой жесткий диск.

Потом я развешивал на балконе выстиранные тщательнее, чем в автоматической стиральной машине, вещи, развешивал тоже очень тщательно — ведь чем аккуратнее развесишь, тем меньше потом возни с глажкой. Развесив всё, я пылесосил ковры, менял занавески, натирал полы, выносил мусор, выбрасывал бутылки, еще раз внимательно обследовал все углы, не остались ли где недвусмысленные следы позора, — но нет, везде царил порядок. Я основательно проветривал все помещения, зажигал свечи — простые и ароматические, закуривал сигарету, садился в кресло, ощущал приятную усталость, радовался успешному завершению дел, наливал себе изрядную дозу — я это заслужил, я имел право после тяжких трудов устроить себе маленький празд-

ник, — наливал, и жадно выпивал, и отключался, и приходил в себя в отделении для делирантов. Стоял под дверью умывалки и слушал, как Дон Жуан Лопатка рассказывает про женщин.

Дон Жуан Лопатка, на гражданке парикмахер и вдобавок музыкант, обожал показывать, как надо профессионально работать ножницами. Он и в самом деле необычайно искусно резал воздух; с первого взгляда невозможно было разгадать колдовской секрет его мастерства, следовало напрячь все свое внимание — да и то неопытный глаз лишь после его нетерпеливых подсказок замечал, что божественные пальцы маэстро приводят в движение только одно лезвие, второе оставалось неподвижным; никто, даже доктор Гранада не мог повторить этот трюк, а Дон Жуан Лопатка в гордыне своей не выдавал секрета.

С неотлучными ножницами в верхнем кармашке пижамы (пижамная куртка небрежно расстегнута, на шее замысловато завязанный фуляр), он страстно кружил по отделению, без устали предлагая всем пациенткам и всем медсестрам свои услуги. Сестры отказывались, особенно сурово окорачивала его сестра Виола, но Королева Красоты, а также Фанни Капельмейстер очень, если не сказать чересчур, часто

щеголяли изысканно уложенными кудрями. Парикмахерское искусство Дон Жуана поистине заслуживало восхищения, даже четыре дочери Королевы Красоты, каждый день ее навещавшие, всякий раз непритворно восторгались новой маминой прической.

Все четыре дочки Королевы Красоты были истинными принцессами. Четыре красивые молодые женщины соответственно 24, 25, 27 и 30 лет от роду, элегантные, одуряюще пахнущие духами «Дюн», «Поэм», «Органза», «Дольче вита» соответственно, подъезжали к больнице в собственных автомобилях «форд-мондео», «рено-лагуна», «фольксваген-гольф», «ниссан-альмера» соответственно, и все четыре, когда ни погляди, были изумительно причесаны опытными стилистами из салона Жан-Луи Давида. Дон Жуан Лопатка от одного присутствия этих четырех звезд терял голову. Если я могу, не сильно покривив душой, признаться, что женщины имели надо мной немалую власть, то зависимость от женщин Дон Жуана была абсолютной, рабской, кокаино-морфинистской. При виде какой угодно, даже весьма отдаленно связанной с прекрасным полом детали, он оживлялся и одновременно впадал в полуобморочное состояние, какой угод-

но женский голос, пускай даже доносящийся из коридора хриплый и злобный баритон нянечки Понятовской, немедленно поднимал его с постели: Дон Жуан молниеносно вскакивал, судорожно поправлял фуляр и, на бегу обильно орошая себя одеколоном, устремлялся на звук соблазнительного неземного пения.

Четыре изо дня в день навещающие мать красавицы, однако, повергали его в смущение. Насколько легко ему было понять любую женщину, когда-либо переступавшую порог отделения для делирантов, насколько фамильярно он держался с навещавшими нас женами, дочерьми, невестами, насколько рьяно, хоть и безуспешно приударял за санитарками, настолько робко он поглядывал на четырех принцесс, бочком мимо них проскальзывал, неуклюже кланялся и даже не пытался завязать разговор. Ни одно из его знаменитых, в равной мере высокопарных и хамоватых речений («клянусь, впервые вижу бабу с такими породистыми бабками», — говаривал он, например, обутой в высокие, по щиколотку, ортопедические ботинки нянечке Понятовской, совершенно ее ошарашивая), так вот, ни одна из его знаменитых, наповал сражающих фразочек не могла сорваться у него с языка: он только

криво улыбался, нервно семенил по коридору, возвращался в палату и выбегал из палаты, ложился и тут же вставал с кровати. Его терзали противоречивые желания: с одной стороны, он всем сердцем и всем своим похотливым нутром жаждал как можно более длительного присутствия в отделении четырех идеальных образцов женственности, от всей души желал, чтобы визит продолжался как можно дольше, а с другой стороны, от всей души желал, чтобы посещение как можно скорее закончилось. Ибо сразу же после ухода всех посетителей и уж конечно после ухода четырех принцесс Дон Жуан Лопатка, воспламененный недоступной красотой, разохотившись, начинал приставать к Королеве Матери. Через мать он пытался приблизиться к дочерям, расспрашивал об их жизни, о детских забавах, о любимых играх и куклах, интересовался, как они росли, как учились, не забывая, конечно, и о мужьях (все четыре были замужем), выяснял, насколько те обеспечены и надежны, и не слишком ли часто который-нибудь из них заглядывает в рюмку, допытывался, счастливы ли «дочурки», где живут, почему их зовут так, а не иначе (звали их соответственно Катажина, Магдалена, Эвелина и Анна), а также спрашивал, может ли он

по телефону поздравить «уважаемых дочек» с именинами и как уважаемая мамаша «четырех прелестных созданий» посоветует ему поступить, если, позвонив, он вместо звонкого голоска именинницы услышит в трубке неприветливый мужской баритон.

— Тогда надо молча повесить трубку, — неизменно глухим голосом отвечала Королева Красоты и больше не произносила ни слова.

Ибо Королева Мать, Королева Красоты была ходячей горсткой пепла. По сути, даже о внешности ее нельзя было сказать ничего определенного: возможно, когда-то она была столь же хороша, как дочки, но сейчас ее лицо, глаза, волосы, плечи, руки и ноги — все обратилось в пепел. Следы былой красоты засыпало пеплом, горящий взгляд погас, кожа посерела и огрубела.

Королева Красоты (на гражданке фармацевт) была дико застенчива. Она была дико застенчива в раннем детстве, была дико застенчива в начальной и средней школе, была дико застенчива в институте. Отец ее, авторитетный провизор с деспотическими наклонностями, некогда владелец частной, а затем заведующий государственной аптекой, своим профессиональным авторитетом только усугублял застенчивость дочки. Имелись

ли для этой застенчивости иные основания, я не знаю и никогда не узнаю. Поэтому ограничусь описанием известного и мне, и Королеве Красоты способа преодоления застенчивости с помощью мятного ликера.

Будущий муж Королевы Красоты, вместе с ней изучавший фармакологию, с первого, а возможно, с третьего взгляда полюбил ее завораживающую несмелость. Она убегала, не подходила к телефону, в его присутствии не раскрывала рта. Но он безвозвратно запутался в паутине ее мимолетных взглядов, в облаке ее девичьего запаха, в каскадах ее темных волос.

Закончив учебу, она стала работать в отцовской аптеке; влюбленный магистр из кожи вон лез, чтобы быть поблизости. Отец (Старый Король), догадываясь, чем дело пахнет, неизменно отправлял его восвояси. Магистру исключительно не везло: по крайней мере шесть раз подряд, явившись в аптеку, он заставал ее бывшего владельца в бессильной ярости сокрушающимся о том, что его собственность больше ему не принадлежит. И только на седьмой раз судьба улыбнулась бедняге: старый аптекарь, поддавшись обманчивой иллюзии, будто ничто в его жизни не изменилось, благосклонно взирал на мир и распространил

свое благорасположение на незадачливого поклонника дочери.

— Делайте что хотите, — сказал он и опять погрузился в частнособственнические грезы.

О своем решении старик, впрочем, не пожалел: будущий зять оказался на редкость сметливым и деловитым, а мятный ликер, который он изготовлял по старинному рецепту на основе аптечного спирта, был поистине превосходен. Когда Королева Красоты по случаю именин выпила рюмочку (первую рюмку спиртного в жизни), стесняющие ее путы разорвались: от вечной боязни невесть чего и следа не осталось.

Он объяснился в любви, она выпила рюмочку мятного ликера и сказала да. Впервые она отдалась ему на аптечной кушетке во время ночного дежурства, выпив перед тем рюмочку ликера. Потом тоже было «перед тем», потом, сколько бы раз она ему ни отдавалась, столько же раз выпивала перед тем рюмку ликера. Через год она выпивала рюмку ликера и тогда, когда они не занимались любовью, через два года она выпивала рюмку ликера по любому случаю, через три года пила ликер каждую свободную минуту.

Через четыре года он перестал изготовлять ликер по старинному рецепту. Ее это ничуть не

огорчило: с некоторых пор она предпочитала спирт.

Поженились они двумя годами раньше (на том этапе, когда она пила ликер по любому случаю). Попивая аптечный спирт, она родила четырех дочерей; он продолжал ее любить. Был нежен, заботлив, все больше преуспевал, выписывал из-за границы редкие лекарства, после смерти тестя стал заведующим аптекой, после падения коммунизма — ее владельцем, воспитывал дочерей, а когда дочери выросли, щедро их обеспечил; все четыре, впрочем, очень удачно вышли замуж.

Королева Красоты пила чистый спирт. Однажды к ней вернулась застенчивость, но ничуть не похожая на прежние, почти невесомые путы — теперь это была ржавая железная решетка. По утрам она смотрелась в зеркало, но из такого далека, что не могла самой себя разглядеть, не видела каскадов обратившихся в пепел темных волос.

— Тогда надо молча повесить трубку, — отшивала она Дон Жуана, он же, понурив голову, возвращался в палату, ложился на кровать и играл на губной гармонике рвущие душу мелодии.

20. Похороны Дон Жуана

Кладбище, на котором мы хоронили Дон Жуана, было живописно расположено на холме, оттуда открывался красивый вид на долины, на смешанные леса, на все Бескиды. Над открытой могилой долго пели и играли на разных инструментах.

Дон Жуан Лопатка — парикмахер и вдобавок музыкант, как он всегда представлялся, — был из невероятно музыкальной семьи. Все его братья и сестры, родные и двоюродные, все его близкие и дальние родственники были необычайно одарены, слух у всех был почти абсолютный, все пели прекрасными голосами, а играть умели, кажется, на любых, какие только ни есть, инструментах. Кое-кто достиг на этом поприще немалых высот: взять, к примеру, троюродную сестру Дон Жуана, чрезвычайно популярную в том сезоне певицу. Громкую славу ей принесли стилизованные балкано-цыганские баллады, исполняемые дивным низким голосом, смелые наряды и потрясающая внешность. Она тоже — правда, с некоторым и даже весьма значительным опозданием — явилась на похороны. Мы

уже взялись за лопаты, уже собирались засыпать попахивающий денатуратом гроб, когда внизу из-за поворота каменистой тропки показалась колоритная процессия. Во главе шествовала чрезвычайно популярная в том сезоне певица в черном платье с невообразимым декольте, за нею следовали четыре разодетых, как попугаи, инструменталиста: гитарист, саксофонист, трубач и ударник. Невообразимое декольте никого не шокировало, напротив, оно свидетельствовало о серьезном и почтительном отношении к опустившемуся родственнику; всем нам было знакомо это платье — одно из самых смелых в гардеробе чрезвычайно популярной в том сезоне певицы: в нем она выступала на престижных фестивалях, на сольных концертах, на телевидении, в известнейших залах и на открытых эстрадах нашего отечества и Европы. Подойдя к могиле, она поклонилась и перекрестилась, музыканты почти сразу же, не настраивая инструментов, заиграли, и в ту же минуту зазвучал известный всем и каждому шлягер о шелковой шали.

Начиная со второго куплета, невероятно музыкальные родственники Дон Жуана дружно подхватили мелодию, те, у кого имелись инструменты, присоединились к музыкантам, и

чудесная песня о шелковой шали, о безутешной печали, о любви, отчаянии и конце всего сущего полилась с кладбищенского холма, и слышно ее было и на том свете, в раю небесном, где среди в меру раздетых душ сговорчивых дам уже блаженствовала душа Дон Жуана.

Хотя я при том не присутствовал, я знаю, как Дон Жуан умирал, знаю, что его мучило. Соседи, которые, высадив дверь, обнаружили его труп, упомянули об одной странной детали. В квартире, где, по их рассказам, царил типичный для жилища алкоголика, но не такой уж и страшный кавардак, было нечто, сразу бросавшееся в глаза. А именно: огромная, чуть ли не до потолка, гора обуви. Весь угол комнаты был завален ботинками, кедами, шлепанцами, кроссовками, кожаными и полотняными туфлями, сандалиями, галошами, сапогами на меху и даже когда-то безумно модными деревянными сабо.

Только очень простодушный человек, скажем какой-нибудь беззаботный трезвенник, мог бы решить, что это — один из симптомов свойственного алкоголикам хаоса, что Дон Жуан Лопатка просто имел привычку, приняв на грудь, снимать обувь и не глядя швырять ее в угол: в конце концов, методично разувающие-

ся алкаши встречаются нечасто, большинство алкашей разувается как бог на душу положит. Так-то оно так, но, во-первых, Дон Жуан Лопатка принадлежал к тому алкашескому меньшинству, которое разувается методично, во-вторых, он был из тех, кому хаос не по душе, и, наконец, он был парикмахером и музыкантом, а как искусная прическа, так и музыкальная гармония с хаосом несовместимы.

Дон Жуан Лопатка, например, в отличие от большинства алкоголиков, не выносил вещей из дому, напротив, он их собирал, не продавал и не выбрасывал старья, в его шкафу висели костюмы еще сталинских времен, кое-какая унаследованная от предков кухонная утварь была родом из прошлого века, обручальное кольцо от единственного брака продолжало спокойно лежать на дне ящика, хотя какого именно, Дон Жуан уже не мог сказать столь же уверенно, как десять лет назад.

Так уж случилось, что последнее время Дон Жуан Лопатка пил исключительно денатурат, но не потому, что совсем опустился, а потому, что денатурат ему нравился. (Напиток на основе этого сырья он изготовлял, кстати, по особому рецепту — какому, расскажу чуть ниже.) Итак,

Дон Жуан Лопатка был человеком опустившимся, но на свой, специфический лад: он был парадоксальным делирантом — у кого же, как не у парадоксального делиранта, найдется в шкафу столько пар ботинок, чтобы, швыряясь ими, в конце концов можно было засыпать то страшное, что притаилось в углу комнаты?

Я уверен, что загадочная пирамида из обуви не имела ничего общего с хаосом — ей надлежало отогнать или хотя бы заслонить нечто, разящее дерьмом, она свидетельствовала о невыносимом страхе, была результатом решающей схватки, побоищем, над которым витали дымы крематория. Я в этом уверен, потому что однажды слышал, да и сейчас слышу твой плач, Дон Жуан, и вижу твои глаза — два зияющих в черепе кратера страха. Очнувшись в какой-то момент, ты не захотел поверить своим глазам, и потянулся к стоящей в изголовье бутылке, и допил то, что там оставалось, и заснул последним в жизни хмельным сном.

Да, с некоторых пор Дон Жуан Лопатка в промежутках между пребываниями в отделении для делирантов пил исключительно денатурат, но то был денатурат, особым способом облагороженный. Никакого тебе банального разбавления

водой из-под крана, никакого тебе технологически безграмотного устранения пронзительно фиолетовой окраски с помощью отбеливателя «Лилия», никакой добавки трех пузырьков мятных капель для придания напитку весьма отдаленного сходства с мятной настойкой.

Вначале Дон Жуан Лопатка варил ячменный кофе. Кофе он сыпал много и держал на огне долго, а под конец, чтобы жидкость приобрела густоту смолы, цвет эбенового дерева и мощь паровоза, добавлял одну ложку падевого меда, четыре ложки растворимого кофе и два пакетика ванильного сахара. Приготовленный таким образом кофе-мокко он смешивал с денатуратом, то есть вливал бутылку денатурата в кастрюльку с ячменным кофе, который, уже будучи обогащен вышеуказанными компонентами, должен был быть сильно охлажден. (На дурацкий вопрос, почему кофе должен был быть сильно охлажден, отвечать не стану.) Дон Жуан Лопатка мешал коктейль деревянным половником так долго, что впадал в своеобразный транс, и ему начинало казаться, что он уже никогда не остановится. Когда он осознавал, что, похоже, никогда не перестанет смешивать денатурат с ячменным кофе, он заставлял себя остановиться, вынимал из

кастрюли деревянную поварешку и облизывал ее, пробуя пока еще далекий от совершенства напиток. Затем водружал на кастрюлю дуршлаг, с которого почти полностью облупилась эмаль, и выстилал дно дуршлага стерилизованной марлей. Наступало время цитрусовых. Два крупных и тщательнейшим образом выбранных на лотке лимона Дон Жуан Лопатка с естественной для парикмахера и музыканта — и поразительной для алкоголика с трясущимися руками — точностью разрезал пополам. Результат его радовал, и он долго (однако не впадая в транс) любовался лежащими на столике четырьмя абсолютно одинаковыми половинками лимонов. Затем поочередно и крайне методично выдавливал из каждой половинки сок над выстланным марлей дуршлагом. Марлю аккуратно отжимал досуха и, выжатую, швырял куда попало — период крайней методичности, вообще период методичности на том заканчивался. Дон Жуану еще много чего предстояло сделать: ему предстояло еще одно (слава богу, последнее) перемешивание, а также требующее превеликой осторожности переливание (что он проделывал с помощью синей, некогда эмалированной, полностью облезшей воронки) почти готового напитка в старую бутыл-

ку из-под «Джонни Уокера», которую Дон Жуан Лопатка хранил по причинам сентиментального свойства. (Она напоминала ему некую дебютировавшую в его объятиях школьницу.)

Впереди у него было еще долгое ожидание. Драматическое ожидание минуты, когда помещенный в холодильник напиток восхитительного, ни с чем не сравнимого вкуса станет темным и непрозрачным, как пруд, заросший гнилыми водорослями.

И последнюю каплю именно этого напитка Дон Жуан выпил, когда, в какой-то момент очнувшись, еще отказывался верить, что видит то, что видит, и чувствует запах, какой чувствует. Он спал, кажется, всего ничего, а когда проснулся, *это* в углу комнаты было еще более отчетливым, было таким отчетливым, что Дон Жуану даже почудилось, будто он видит, как под шкурой, заросшей свинячьей щетиной, пульсируют изъеденные раком кишки. И смрад стоял, невыносимый смрад. Но когда Дон Жуан Лопатка окончательно убедился, что то, что он видит (а он явственно видел манивший его когтистый палец), вовсе не призрак, он не растерялся и решил защищаться. Отлично зная, что памятная бутылка пуста, он решил швырнуть ее в

затаившуюся в углу нечисть. Рука его ящерицей заскользила по полу, однако вместо овеянной сентиментальными воспоминаниями бутылки наткнулась на домашние туфли, и Дон Жуан Лопатка швырнул в нечистую силу сперва одним, а потом и вторым шлепанцем. И вот тут-то от страшного страха волосы у него встали дыбом. Тут-то он по-настоящему обезумел: швырнув в нечистую силу вторую домашнюю туфлю, он почувствовал себя солдатом, у которого закончились патроны, испугался, что у него не найдется больше туфель — ведь он вообразил, что первые две туфли какой-то эффект возымели, что только с помощью туфель он одолеет зло, что только туфли — единственно надежные снаряды, что нечисть падет под обувной канонадой. С нечеловеческим усилием выбравшись из кровати, он подполз к набитому разнообразной обувью шкафу и принялся лихорадочно забрасывать нечистую силу туфлями, а когда туфли закончились, стал швырять сандалеты, а когда сандалеты закончились, стал швырять кеды, и потом начал хватать первую попавшуюся обувку без разбору, а обувки этой в шкафу было не счесть, ее было так много, что в конце концов она принесла Дон Жуану победу, хотя победа была одержана

буквально в последнюю секунду. В последнюю секунду последний башмак заслонил последний кусок пульсирующей, поросшей свинячьей щетиной шкуры. Дон Жуан Лопатка испытал некоторое облегчение, возможно даже, чуточку успокоилось его бешено колотящееся сердце; он едва дышал, и, возможно, дикая физическая усталость на минуту подавила страх. Дон Жуан вышел из комнаты, где в углу под пирамидой обуви угасало зло, или его уже там не было, — во всяком случае, заслон был надежный. Вышел, закрыл за собою дверь, пошел на кухню, зажег свет, закурил и осмотрелся. Все было на своих местах, ничто нигде не шевелилось, не ползало, не шуршало. Холодильник, буфет, раковина, газовая плита находились там, где всегда. На буфете, как во времена московского ига, стоял черно-белый телевизор «Юность». Дон Жуан Лопатка протянул руку и нажал кнопку, через минуту экран засиял ртутным светом и зазвучал голос чрезвычайно популярной в том сезоне певицы: стоя среди ртутных молний на невидимой сцене, она пела песню о шелковой шали. И ужасная тоска пронзила сердце Дон Жуана.

Он еще мог спастись, еще мог пойти в ночной магазин, еще мог позвонить одной из своих по-

друг, еще мог вызвать «скорую», но, вероятно, не захотел. Выключил телевизор, сидел в кухне и курил. Я знаю, что ему было страшно, и знаю, какая боль терзала его душу. Возможно, он поискал в аптечке реланиум, тазепам или аспирин. Но там ничего не было: пустая упаковка от аскорутина, два шарика витамина С — слишком слабые средства, чтобы воскреснуть. Он пил холодную воду из-под крана, это точно: открывал кран, жадно пил и вытирал рот. Может быть, ему захотелось есть? Но в холодильнике нашлись только три высохших, твердых как камень кубика куриного бульона и одна, зато едва початая, баночка клубничного джема. Может быть, он поверил? Да, он поверил, что, если выпьет кружку питательного бульона, он восполнит недостаток минеральных солей — и ему полегчает. Да, он поверил, что, если не спеша, ложку за ложкой, съест баночку клубничного джема, глюкоза и витамины вернут ему силы. И погасил сигарету, и стал готовить последнюю вечерю, и соседи, высадившие дверь, так его и нашли: он лежал на полу, а на устах его была бело-розовая печать.

21. Четверг, 6 июня 2000 года

Сахарный Король — на гражданке преуспевающий бизнесмен — объявил собравшимся в курилке делирантам, что в своем дневнике чувств описал, какое испытал облегчение, когда у него подействовал желудок. Признание это вызвало переполох — в особенности среди делиранток. Мужские одобрительные смешки вплетались в дамский возмущенный ропот.

— Мы обязаны вести дневники чувств — и это неопровержимый тезис, — защищался Сахарный Король. — В дневниках мы обязаны быть абсолютно откровенны — и это неопровержимый тезис. Почему? Да потому, что мы должны снова научиться называть свои чувства, каковую способность в результате злоупотребления спиртным утратили, а кроме того, должны научиться управлять своими чувствами, каковую способность мы тоже утратили, — и это неопровержимый…

— И тем не менее описывать душевное состояние после опорожнения желудка, по-моему, неприлично, — не очень уверенно перебила его

Фанни Капельмейстер, на гражданке учительница истории.

— Фанни, тебе надо повторить курс психотерапии с самого начала, — в голосе Сахарного Короля прозвучала язвительная издевка, — ты не отличаешь духовной сферы от сферы чувств. А ведь доктор Гранада, а ведь сестра Виола, а ведь психотерапевт Моисей, он же Я, Спиритус, вместе со своими ординаторшами без конца вбивали тебе в голову, что это две разные сферы. Боюсь, мне придется поставить твой вопрос на вечернем групповом занятии.

— Хорошо. — Фанни вскинула голову и мгновенно превратилась из истощенной карлицы лет пятидесяти, какой она казалась, в высокую властную брюнетку лет тридцати, какой была на самом деле. — Хорошо, но вначале изволь на вечернем занятии сказать, вначале изволь объявить, что сегодня, в четверг 6 июля 2000 года от Рождества Христова, высравшись, ты почувствовал облегчение.

— Незачем мне это говорить, потому что все записано, — ответил Сахарный Король и отчеканил фразу, показавшуюся мне до боли знакомой: — Если я что-то записываю, говорить об этом не нужно. А на вечернем занятии у меня есть о чем

рассказать, — с угрозой добавил он.

Однако вечером, когда все, как это было заведено, собрались в столовой, чтобы подвести жизненные итоги, Сахарный Король не попросил слова, вообще не проронил ни звука; ни в тот, ни в какой-либо иной день мы так и не собрались обсудить вопрос, достойно ли описания в дневнике чувств состояние души после опорожнения желудка. Единственным предметом спора тогда стал телефон. (Если только можно назвать спором вялый обмен мнениями.) Исключительно оживленная в тот день Фанни Капельмейстер — возможно, ей нестерпимо хотелось выпить, возможно, она старалась не допустить постыдной дискуссии на известную тему, а может быть, боялась Сахарного Короля, либо ее привел в возбуждение какой-то запретный контакт с внешним миром, — так или иначе, исключительно оживленная в тот день Фанни Капельмейстер подняла руку.

— Я поняла, — сказала она, — не сразу, но поняла, почему нам нельзя смотреть телевизор, слушать радио, играть в домино и прочие коллективные игры, — это я наконец-то поняла, но почему в двадцать один ноль-ноль в отделении выключают телефон, не понимаю.

— Телефон в двадцать один ноль-ноль выключают для блага пациентов, — в ответ на неосознанно учительскую интонацию Фанни Капельмейстер сестра Виола сознательно пустила в ход наставительную интонацию всевластной старшей сестры милосердия, — одни пациенты в это время уже хотят спать, другие хотят еще поработать в тишине, что-то записать…

— О какой тишине вы говорите, — Фанни Капельмейстер снова преобразилась: теперь робкую пациентку-просительницу сменила царственно гордая бунтарка, — о какой тишине вы говорите, о каком спанье, если в двадцать два ноль-ноль начинается уборка коридора, сопровождающаяся шумом и грохотом, а в двадцать два тридцать все мы с личными мундштуками отправляемся в процедурную дуть в алкометр, о какой такой тишине…

Фанни Капельмейстер вдруг умолкла и замерла — это смахивало на начало эпилептического припадка, однако нет: Фанни оцепенела и умолкла, потому что ей внезапно открылась самая суть ее печальной участи. Что чувствует человек, который каждый вечер с личным мундштуком в руке стоит в длинной, минут на тридцать, очереди к алкометру? Что такой человек чувствует? Да

ничего — особенно если перед тем ни капли не выпил; а если хоть самую малость выпил, тогда он чувствует страх. Да, но что чувствует человек, внезапно осознавший, что каждый вечер он стоит в длинной очереди делирантов, по одному подходящих и дующих в алкометр? Такой человек вполне может — подобно Фанни Капельмейстер — оцепенеть, вполне может превратиться в соляной столб. Фаннин череп заполнился толпой делирантов. Дисциплинированно, друг за дружкой подходя к алкометру, они с такой силой дули в трубку, что, казалось, выдували все мысли из ее головы. Фанни, не вымолвив больше ни слова, начала медленно садиться, хотя выглядело это так, будто она не садится, а оседает на стул. Одновременно с оседанием Фанни Капельмейстер напротив нее из-за стола, словно на другой чаше невидимых весов, поднимался психотерапевт лже-Моисей, он же Я, Спиритус.

Фанни Капельмейстер как будто вторично умолкла — на этот раз обратившись в камень. Возможно, она хотела еще что-то добавить, возможно, хотела сказать, каким важным для делиранта может оказаться хотя бы минутный телефонный разговор, возможно, хотела сослаться на соответствующий параграф «Прав

пациента» или напомнить о некоем факте (тем самым эффектно завершив сюжет), а именно: что единственный доступный делирантам автомат принимает только давным-давно вышедшие из употребления жетоны, в связи с чем почти никто им все равно не пользуется; возможно, у нее были еще какие-то аргументы — но нет, скорее и даже наверняка никаких больше аргументов у нее не было. Ничего не было у нее в голове, кроме толпы делирантов, стоящих в очереди к алкометру.

Фанни ясно увидела в этой очереди собственный призрак и подумала, что человек, ежевечерним обрядом которого становится дутье в алкометр, быть может, и вправду не должен иметь иных прав, кроме права ежевечернего общения с этим аппаратом. Между тем психотерапевт лже-Моисей, он же Я, Спиритус, полностью поднявшийся из-за стола, очень тихо сказал:

— Согласно правилам вы, делиранты, можете пользоваться телефоном с семи ноль-ноль до двадцати одного ноль-ноль. Так было и так будет — или не будет, поскольку, сдается мне, пора подумать об изъятии телефона из отделения. Речь не идет, — тут он слегка поклонился сестре Виоле, — речь не идет о тишине в ее, так сказать, слышимой или неслышимой форме. Ваша задача

— добиться внутренней тишины, умиротворения. Вы должны убаюкать свои издерганные нервы — не ради сна, а ради спокойной жизни впоследствии. Все, что связано с внешним миром, даже разговор по телефону может вывести вас из равновесия. Телефонный разговор — я бы даже сказал, в первую очередь телефонный разговор — может вывести человека из равновесия, я по себе знаю, как иной раз будоражит беседа по телефону. Итак, повторяю: с семи ноль-ноль до двадцати одного ноль-ноль. Потом ночная тишина, выключенный телефон, работа над собой, самоутишение. Бесконечный, направленный на достижение абсолютной внутренней тихости процесс. Да, утишайтесь, утишайтесь, если не утишитесь, я, Спиритус, — психотерапевт лже-Моисей, он же Я, Спиритус, не повышая голоса широко развел руки, добиваясь сходства с крылатым змием, — если не утишитесь, я, Спиритус, вас уничтожу.

Тихость была целью нашей жизни, нашей молитвой и нашим Богом (или же, по местным представлениям, сколь бы они между собой ни разнились, высшей силой). Тихость была нашей Землей Обетованной, куда под предводительством психотерапевта Моисея, он же Я, Спиритус,

вели нас ординаторши. Доктор Гранада устраивал философские диспуты о жизни и смерти, сестра Виола и другие сестры делали то, что положено делать сестрам: ставили нам капельницы, вкалывали витамины, давали болеутоляющие препараты, кормили минеральными добавками, восполняющими начисто вымытые из наших хилых тел минералы, ординаторши же вели нас в Землю Обетованную тихости. Сами они давным-давно утишились, профессионально утишились: в этой области ординаторшам не было равных. Им хватало одного взгляда, чтобы определить степень достигнутой нами тихости, чтобы прикинуть с точностью до миллиметра расстояние, еще отделяющее нас от Земли Обетованной абсолютной тихости. А уж психотерапевт лже-Моисей, он же Я, Спиритус (первой частью прозвища обязанный своей роли предводителя, а вовсе не вероисповеданию), был проницателен просто нечеловечески. Психотерапевт лже-Моисей, он же Я, Спиритус, вне всяких сомнений встречался на вершине горы с Богом тихости, где Всемогущий передал ему свое знание. Психотерапевт лже-Моисей, он же Я, Спиритус, взирал на человека, недостаточно утишенного, и говорил человеку, недостаточно утишенному: человече,

утишься! И человек немедленно утишался.

Как сейчас помню — даже дату могу назвать — свою встречу с глазу на глаз с психотерапевтом Моисеем, он же Я, Спиритус. Было это в четверг 6 июля 2000 года. Я точно помню, потому что как раз в тот день сделал первую запись в дневнике чувств Самого Неуловимого Террориста (на гражданке — водителя, перегоняющего на Восток трейлеры с фруктами). Самый Неуловимый Террорист лишь бегло изложил мне историю своей жизни; говорил он нескладно, и слушать его с должным вниманием было невозможно, а уж о том, чтобы он диктовал, пускай даже подсознательно, и тем более писал сам, и речи не шло. Мне жутко не хотелось за него писать — не только в механическом, но и в духовном смысле: не хотелось воплощаться в образ рассказчика-дальнобойщика, перегоняющего на Восток трейлеры с фруктами. Жутко не хотелось, но Самый Неуловимый Террорист преподнес мне флакончик одеколона «Поло спорт», и я не удержался от соблазна. Любые одеколоны и дезодоранты в отделении были строжайше запрещены, меня же тогда преследовало неотвязное мерзкое ощущение: мне казалось, что все мое тело и недешевый спортивный костюм пропитаны запахом пижам,

в которые обряжали психов.

Вокруг отделения для делирантов среди буйных одичавших садов были разбросаны кирпичные корпуса психушки. Ровно в полдень сады заполнялись говорливыми толпами шизофреников и самоубийц в полосатых пижамах; над садами плыли густые, бурые, как хозяйственное мыло, тучи запаха, источаемого их бело-голубыми пижамами и мучнистыми телами; я не мог избавиться от ощущения, что одна из таких туч, сгустившись, плотно меня окутала.

Я принял из трясущихся рук Самого Неуловимого Террориста флакончик «Поло спорта», пообещал себе одеколоном не злоупотреблять и, уж во всяком случае, стараться, чтобы ничего не учуяла сестра Виола, которая за полсотни метров (исключительно — подчеркиваю — благодаря своему бесподобному обонянию) с легкостью определяла, какой — пищевой или непищевой — спиртосодержащий продукт ты употребил (наружно или внутренне). Я принял флакончик, спрятал его в тайник, о местоположении которого умолчу, и взамен обязался вести дневник чужих чувств.

Шестого июля в половине пятого утра, сев за стол в «тихой комнате», я на чистом листе бумаги

формата А4, в верхнем левом его углу, проставил дату: 6 VII 2000.

«Закончилась первая неделя моего пребывания здесь, сейчас половина пятого утра. Идет дождь. Через полчаса прозвучит сигнал, означающий побудку. Я сижу в тихой комнате и пишу дневник чувств. В настоящий момент я ощущаю в душе отчаяние. Каким еще может быть душевное состояние человека, который в начале июля просыпается в отделении для делирантов, зная, что он должен провести тут целое лето? Дождь за окном меня угнетает и одновременно приносит облегчение. Угнетает по той причине, что если не перестанет лить до воскресенья, то в воскресенье, когда приедет моя невеста, нам с ней некуда будет податься. А облегчение дождь приносит потому, что, если бы стояла жара, я бы еще больше жалел об уже выкупленной путевке и загубленном из-за моего забубенного пьянства отпуске. Я бы все время воображал, как мы с невестой лежим на пляже, и мое отчаяние только бы усиливалось.

Вчера на вечернем групповом занятии мы прощались с теми, кто сегодня выписывается. Я им завидовал и хотел быть одним из них. Бездомный Чеслав, который должен был последним произнести прощальную речь, вместо речи прочитал собственный стих. Когда он закончил, сестра Виола сказала, что ему нужно еще раз повторить курс лечения, с самого начала. Хорошо, что я не умею писать стихи».

Внезапно я почувствовал усталость. Писать за делирантов их исповеди, сочинения и дневники вообще занятие изнурительное, а в данном случае я понял, что подделывать дневник Самого Неуловимого Террориста мне просто не под силу. С некоторых пор я подозревал, а теперь окончательно уверился, что неустанное имитирование простецкого стиля делирантов отражается на моей изысканной стилистике. Если я и дальше буду часами корпеть над составлением корявых фраз, это пойдет во вред моим собственным писаниям, да и — повторяю — здоровье уже было не то. Конечно, я мог бы повысить цену своих сочинительских услуг, но тогда бедные, как цер-

ковные мыши, делиранты стали бы уж совсем неплатежеспособными, а что ни говори, гонорары — будь то пять злотых, или сигареты, или еще что-нибудь — были моим единственным источником дохода. И я принял более благородное решение: писать свободно, не наступать на горло собственной песне, не сдерживать присущий мне размах; под конец же я намеревался путем отфильтровывания стилистических изысков и выдающих эрудицию автора отступлений так отредактировать текст, чтобы он приобрел вид с трудом нацарапанного трясущейся рукой подлинного делирантского манускрипта.

«По профессии я водитель, последнее время работал в фирме, транспортирующей на Восток фрукты. Работа хотя опасная, но хорошо оплачиваемая. А еще приходилось много и в разных местах пить. Трейлер с фруктами не может ждать слишком долго. Трейлер с фруктами не может стоять неделю ни при погрузке, ни в пути, ни на границе. Чтобы ускорить дело, чтобы дело стронулось с мертвой точки, чтобы мой трейлер с фруктами стронулся с места, надо было ставить

грузчикам, кладовщикам, полицейским, таможенникам и получателям фруктов. И я ставил, и пил вместе с грузчиками, кладовщиками, полицейскими, таможенниками и получателями, пил с поляками и пил с русскими. Мой шеф — главный диспетчер фирмы, транспортирующей на Восток фрукты, — прибавлял к моей зарплате сумму, которую я по необходимости тратил в пути на водку. Человек он был хороший, хотя сам в рот не брал. Тем более я жалею, что сделал то, что сделал. А сделал я вот что: последний раз вернулся из России в дымину пьяный. В самом этом факте ничего особенного не было, такое случалось и раньше. Но в тот раз, вернувшись из России здорово втертый, я захотел (немедленно! не откладывая!) поговорить с шефом, захотел немного очухаться в атмосфере приятной трезвости, окружающей этого человека, и постучался в дверь кабинета главного диспетчера, и вошел, и уселся в кресло, и завел разговор, из которого ничего не помню. Шеф, видя, в каком я состоянии, угостил меня кофе. Я залпом выпил кофе,

и меня затошнило. Надо еще учесть, что на дворе стоял лютый мороз, а в кабинете шефа было очень жарко, разница температур, видимо, подействовала на меня ослабляюще. Шеф говорил со мной ласково, я же, невзирая, что мое поведение может показаться невежливым, встал, полагая, что еще успею. К сожалению, не успел. Встав, я ощутил, что внутри у меня все перевернулось, изо рта хлынула пенистая блевотина, и я обрыгал всю как есть карту польско-российской приграничной зоны, лежавшую у шефа на столе. Шеф обалдело смотрел, как бурые струйки моей блевоты пересекают Буг, как со скоростью разогнавшихся трейлеров они проскакивают пограничные пункты в Бресте, Медыке, Тересполе, с профессиональной сноровкой нелегально переходят границу, захлестывают будки пограничников и тайники контрабандистов, бурным потоком врываются в пригород Сокулки, заливают бобровницкий рынок, текут через Семятичи.

И органический запах моей блевотины разнесся по кабинету, и, сокрушенный

блевотиной, вонью и стыдом, я трупом пал к ногам шефа.

Почему так случилось? Почему именно со мной такое случилось? Как объяснить тот факт, что я хотел выказать шефу свою исключительную душевную симпатию, а предъявил позорное содержимое желудка? Главная проблема в том, как примирить широту пьяной души с ущербностью пьяного тела. Как это объяснить и согласовать? Как вообще совместить высочайший душевный порыв с мерзопакостной блевотой? Как связать фантастическую, вдохновенную легкость с простыней, назавтра черной от пота? Что общего между вечерней отвагой, удалью и утренними страхами, тревогой? Не задаю ли я, на гражданке простой дальнобойщик, гоняющий на Восток трейлеры с фруктами, простой водила, из-за своего пристрастия к военным шмоткам прозванный шоферней Самым Неуловимым Террористом, не задаю ли я случайно элементарные вопросы, на которые может ответить любой врач, а то и студент-медик? Стыдно так откровенно

себя хвалить, и все же скажу: нет. Я задаю вопросы высшего порядка. Я пишу этот трактат о пьянстве не для того, чтобы отвечать на вопросы, а для того, чтобы их ставить. Все равно я уже так далеко заехал, что последние главы трактата дописываю в отделении для делирантов. Ибо мой шеф, увидев у своих ног мой облеванный труп, незамедлительно меня сюда привез…»

Вдруг (вдруг! вдруг!) я почувствовал деликатное прикосновение чьей-то руки к своему плечу, и мне стало так страшно, что я не только прекратил писать, но даже точки в конце последнего предложения не поставил. Я понял, что разоблачен, что мой творческий труд по изготовлению подделок больше не секрет. Я понял, что моего плеча коснулся, стоя у меня за спиной, психотерапевт лже-Моисей, он же Я, Спиритус. Я понял, что он заглядывает мне через плечо, что уже добрых несколько минут следит за движением моего пера, читает то, что я написал. Я повернулся на стуле и увидел его круглую приветливую физиономию, и не посмел взглянуть ему в глаза. Я трясся как осиновый лист, я ощущал, явственно

ощущал, как ни с того ни с сего возвращаются уже совсем было исчезнувшие симптомы: страх, потливость, тошнота, бессонница, галлюцинации. Психотерапевт лже-Моисей, он же Я, Спиритус, внимательно на меня посмотрел, еще раз бросил взгляд на исписанную страницу, которую я даже не попытался чем-нибудь прикрыть, после чего, не сводя с меня глаз, произнес:

— Я вижу, ты утишился, вижу, ты работаешь над собой, стараешься. Вот и отлично. Тихость, абсолютная тихость — основа всего.

С тишайшей сердечностью похлопав меня по плечу, он бесшумно, как и вошел, покинул помещение. Я автоматически встал, автоматически достал из кармана пачку сигарет, тяжело, как Голем, передвигая ноги, вышел из тихой комнаты и направился в противоположный конец коридора. Открыв дверь курилки, я услышал последние фразы извечного спора о том, есть ли связь между душой и физиологией и если есть, то какова ее природа.

22. Гнедой Фукс

Морозная довоенная зима. Середина января 1932 или 1933 года. В этой части земного шара, где сейчас мой дед, Старый Кубица, выпивает очередную рюмку водки Бачевского, мороз и снег продержатся еще долго. Тяжелый бараний тулуп сполз с дедовых плеч, под тулупом белая рубашка со стоячим воротничком и черный жилет, Старому Кубице тепло, кровь бойко кружит по жилам, однако откуда-то просачивается боль, повыше сердца или пониже легких, то ли между мышц, то ли между костей у него дыра — незаживающая рана.

В пивной «У Дрозда» темно, только узкая полоска света тянется от керосиновой лампы на буфетной стойке, только раскаленная чугунная дверца кафельной печи алеет, словно знамя бога войны, только за окнами все белым-бело. Хозяин пивной расставляет стаканы на полках буфета, поглядывает в темный угол. Старый Кубица сидит не шевелясь, то есть не шевелясь он сидит пятнадцать минут, по прошествии пятнадцати минут можно заметить легкое движение руки,

услышать негромкий звон стекла, голова деда запрокидывается. Мой дед Старый Кубица пьет и не знает, как быть. Он гонит прочь мысли о долгах, о хозяйстве, о бабушке Зофье, гонит мысли о детях. О своем любимце гнедом по имени Фукс он вообще не думает. Думает он о том, что завтра на рассвете должен убить устроньского купца, которому сегодня продал гнедого по имени Фукс.

— Послушайте, это самая прекрасная лошадь, какую я только видел, это самый прекрасный конь на свете, — вот уже больше полугода твердил купец. — Послушайте, гнедой маршала Пилсудского с вашим гнедым рядом не стоял. Да я вам, сколько ни попросите, заплачу, вы на эти деньги поставите себе новый дом.

Старый Кубица смеялся, гладил гриву гнедого, слушал, как он топочет, фыркает, ржет, — слушал, запрокинув голову, будто дирижер, вслушивающийся в безукоризненное звучание инструментов, будто пьянчуга, поднесший к губам свою амброзию.

Сегодня на рассвете у него тряслись руки, прыгало сердце, пот градом катился со лба, в голове гудели неотвязные мысли: все потеряно, все пропало, все пошло к чертям. Явятся судебные исполнители, и придется им с бабой и ребятиш-

ками убираться из хаты.

В горнице, где он всегда спал, было, наверно, минус один, если не минус пять. Дед стоял у окна, его бросало то в жар, то в холод, упершись лбом в заиндевелое стекло, он смотрел на пустой двор перед домом, смотрел, как по старательно подметенной моим десятилетним отцом дорожке идет к дому купец.

— Раненько встал, — шепнул себе Старый Кубица и подумал о том, что люди, которые встают чуть свет, умываются ледяной водой, едят яичницу на сале, пьют горячий кофе, а потом запрягают в сани лошадей, укрываются шкурами и едут среди бесконечной тишины и белизны целых десять километров из Устрони в Вислу, наверно, счастливы и ничего у них, наверно, не болит. Может, запрячь лошадь и самому поехать куда глаза глядят? Мой гордый дед досадливо поморщился, обозлившись на себя, что допускает в голову бабские мысли. Поехать куда глаза глядят? Да куда ж это я поеду? — кисло усмехнулся он. — Разве что в пивную.

— Да, — пробормотал он, — дальше пивной в Устрони я вряд ли доеду.

Купец стоял на пороге, и неуверенно разводил руками, и улыбался со значением.

— Послушайте…

— Хорошо, — перебил его дед. — Столько, скользко вы сказали, плюс двадцать злотых.

Тот не раздумывая полез за пазуху.

— И еще одно, — ухоженная купеческая рука задержалась где-то под теплым суконным пальто, — деньги сегодня, лошадь завтра. Завтра приходите в это же время.

Купец хотел что-то сказать, но, видно, взгляд у деда был такой, что не сказал ничего. Уже с меньшей охотою, как-то вяло рылся за пазухой, однако в конце концов вытащил пачку банкнот.

— Двадцать злотых добавлю завтра, — голос у него был нехороший, словно желанная и наконец-то осуществившаяся сделка вдруг перестала его интересовать. — Я вам верю, ваше слово кремень, это вся округа знает.

— До завтра, — сказал Кубица и, будто забыв про купца, первый вышел наружу.

Перед домом он нагнулся, зачерпнул горсть снега и обтер лицо. Купец видел, как он неподвижно стоит посреди двора, видел его опушенные снегом брови и лоб, но подходить не стал, даже свернул с выметенной дорожки. Убедившись, что отошел на безопасное расстояние, сказал:

— До свиданья, до завтрашнего утра.

Старый Кубица ничего не видит, ничего не слышит. Не слышит отдаляющихся бубенцов купеческой упряжки, не видит идущих в школу детей. Над крышами хат поднимается дым, издалека доносится стук топора — кто-то рубит дрова, из леса на Оходзите кто-то зовет: поди сюда, поди. Почти совсем черный кот крадучись наискосок пересекает двор.

— Надо что-то сделать, но что? — говорит сам себе дед. — Надо что-то сделать…

Осматривается вроде как бесцельно, однако конюшню его взгляд целенаправленно избегает. На глаза ему попадается прислоненная к стене елка, на которой еще две недели назад висели яблоки и конфеты. Был сочельник — был и прошел, хотя лучше бы сочельника не было.

Он ни молитву не мог заставить себя прочесть, ни спеть колядку. Никто за столом не решался заговорить, дети едва удерживались, чтоб не заплакать. Сердце, казалось, вот-вот взорвется, разлетится на куски. Бабушка Зофья подала недоваренную капусту. Крытый синей эмалью чугунок с чуть теплой едой перетянул чашу весов на сторону злых духов. Один из них вселился в деда, дед склонился над скатертью, обхватил обеими руками роковую посудину и швырнул

в противоположную стену, на которой висело изображение Мартина Лютера, скопированное с картины Кранаха, и свеча на столе погасла, и портрет нашего реформатора упал наземь. Все кинулись наутек — отец часто рассказывал, как они сломя голову удирали от Старого Кубицы, — все, повскакав со своих мест, уже бежали через сени, через темный двор, приставляли к лазу на чердак над сараем лестницу, поднимались ловко, один за другим, как вымуштрованная рота пожарных. Дед переворачивал табуреты, опрокидывал стол, опрокидывал буфет. Снимал со стены двустволку и звал моего десятилетнего отца. Вдвоем они обходили усадьбу, дед нес на плече ружье, в кулаке сжимал бутылку и пел колядки:

Дай Бог вечер, ночь веселую.
Дай Бог вечер, ночь веселую.
Сперва хозяину.
Сперва хозяину.
Потом и хозяюшке.
Потом и хозяюшке.
И детушкам ненаглядным его.
И детушкам ненаглядным его.

Он пел, прихлебывая из бутылки, и его звучный

голос летел над долинами. Отец тоже пытался петь, но страх, что посильнее тридцатиградусного мороза, пронизывал его насквозь — тень этого страха останется в нем навсегда. Тогда, рождественской ночью 1932 или 1933 года, мой девяти- или десятилетний отец боялся, что из-за угла вынырнет поспешающий в Вифлеем ангел. Боялся, что он где-то поблизости — ангел, который сбился с дороги либо, решив передохнуть, прервал ненадолго полет. В ту рождественскую ночь на небе полно было ангелов, юрких, как ласточки, и на полях той ночью стояли ангелы и пролетали над крышами: не раз и не два можно было услышать шум крыльев и хоровое пение. Отец боялся, что Старый Кубица выстрелит в ангела. Сейчас они свернут за угол дома, увидят под заснеженной яблоней белокрылую фигуру, и мой дед не раздумывая сорвет с плеча двустволку и, почти не целясь, выстрелит и не промахнется. И на крыле ангела появится одна, всего лишь одна капля крови, и единственная эта капля будет иметь такую силу, что, когда упадет на землю, все загорится и все сгорит. Все загорится, даже снег. Но они обошли двор и сад за домом, и ничего не случилось, страх понемногу отступал, движения Старого Кубицы стали вялыми, он уже не пел, уже

не искал виновника зла, которого нужно убить. Возвращался в свою стылую горницу, ставил на пол возле железной кровати бутылку, засыпал.

— Надо что-то сделать, но что? — думает мой дед, глядя на прислоненную к стене елку, и вспоминается ему вексель, который он подписал сразу после Рождества, и вспоминается минута колебаний перед тем, как подписать вексель. Он! Он, который никогда не колебался, не знал сомнений, перед тем как поставить губительную подпись, пережил минуту неуверенности, но тем не менее не остановился, не сделал из своих сомнений никакого вывода. Ничего — только дьявол помутил ему разум; ничего — только Господь Бог покарал его за то, что он, вместо того чтобы молиться и петь за праздничным столом, швырнул в стену чугунок с чуть теплой капустой. Целое хозяйство за один горшок капусты, притом холодной? Не пойму, Господи, что у Вас за арифметика? — вопрошал он неуверенно, Господь уверенно помалкивал, и Старый Кубица в глубине души с Ним соглашался, видать, холодная капуста была пресловутой каплей, что переполнила чашу его гнева.

Он идет в дровяной сарай и берет топор, которым, возможно, завтра на рассвете убьет

устроньского купца. Как именно убьет, он еще не знает, однако знает, что убьет. Подробности его никогда не интересовали, а тем более не интересуют сейчас. Он не раздумывает, что пустить в ход — охотничье ружье, топор или молоток; что попадется под руку, то и пустит, потому что он всегда пускал в ход первое, что оказывалось под рукой, а если ничего подходящего не подвернется, задушит купца голыми руками. Что он сделает с трупом? Куда его денет? Да ничего он не станет делать. Оставит покойника на месте и отправится в пивную. Будет сидеть в пивной, как каждое утро, хотя в тот — особый — день будет ждать, что за ним придут жандармы. Когда придут, он пойдет с ними. Старый Кубица держит в руке топор, и при мысли, что завтра около полудня его заберут жандармы, наконец-то с облегчением вздыхает.

— Да, жандармы, — шепчет он себе и, не догадываясь, что перефразирует неизвестное еще стихотворение, добавляет: — На жандармов — одна надежда[12].

А пока мой дед обрубает с елки ветки и уже

[12] Примечания: 12

Речь идет о строке из стихотворения К. Кавафиса «В ожидании варваров»: «На варваров — одна была надежда!» *(Перевод* с *новогреческого И. Жданова).*

знает, чем займется сегодня утром. Берет осколок стекла, наждачную бумагу, ножовку — сейчас он будет вырезать из елки разные вещи и первым делом вырежет по меньшей мере четыре веселки. Ветки у елки красиво расходятся лучами, и похожие на маленькие лыжные палки веселки, которыми бабушка Зофья будет помешивать варево в крытых синей эмалью горшках, получатся знатные. Целый час, а то и все два дед работает с удовольствием, запах смолистой древесины успокаивает издерганные нервы, руки у деда спокойны. Он аккуратно снимает с деревца кору и, поначалу нескладно, точно оркестр, настраивающий инструменты, а потом все складнее — музыканты, открывающие народное гулянье, уже разыгрались — начинает петь. После двухнедельного молчания мой дед снова запел; сейчас он будто вторит нашему хору, хору делирантов.

В коридорах отделения все голоса и все мелодии мира сливаются воедино, и время от времени я отчетливо слышу в печальном многоголосье старую гуральскую мелодию, которую полвека назад Старый Кубица выводил на заснеженном дворе. Мелодия известная, только слова другие; дед, склонившись над окоренным, голым и скользким стволом елки, должно быть в порыве

вдохновения, распевает первое, что ему приходит в голову;

Нет тебя, нет тебя — и никогда не будет.

По воде, по воде — лебеди плывут.

По какому случаю мой дед поет песню? Поминает устроньского купца, которого завтра убьет? Прощается с гнедым Фуксом? Провожает песней себя, уводимого жандармами? А может, он поет обо мне? Или о тебе? Нет тебя, нет тебя — и никогда не будет. Неправда, ты есть. Как и я — потому что я сказал смерти «нет». Старый Кубица, предложи ему на выбор: отсутствие бутылки у изголовья или смерть — выбрал бы смерть. Я выбираю жизнь, и Старый Кубица в небесной пивной (ангел ему наливает) пьет за мое здоровье. «Дедушка, — говорю я ему, — нетрезвый отче моего нетрезвого отца, ведь и я был на том заснеженном дворе, бутылка стояла и у меня в изголовье, я тоже истекал черным потом, сердце мое прыгало и руки тряслись». Но я выбираю жизнь, рядом со мной моя любовь, сильная, как твое пение, она меня спасет. Наш порок, убивший тебя, я сбрасываю, как сбрасывает кожу змея; я победил и делюсь своей победой с тобой,

я пишу о тебе и пишу о себе не только затем, чтобы показать, что истинная алкашеская проза не заканчивается смертью — она заканчивается жизнью, которая закончится неизвестно как.

Поработав час, а то и все два, Старый Кубица резко срывается с места. Наверно, он решил немедленно сделать то, что собирался сделать завтра; наверно, он сейчас запряжет в сани лошадей и, кинув в ноги топор, вскачь, галопом помчится в облаке снежной пыли в Устронь. Однако нет. Старый Кубица срывается с места, ибо с ним происходит то, что неизменно с нами происходит: настает минута, когда необходимо выпить. И мой дед, осознав и уверившись, что пришло время выпить, с огромным облегчением набрасывает на плечи тяжелый бараний тулуп и отправляется в пивную. Садится там в самом дальнем углу и заказывает самую дорогую водку — Бачевского. Прикончив бутылку, расплачивается, велит принести следующую, и всем, кто на протяжении дня и потом, уже в сумерках, хочет к нему подсесть, говорит:

— Сегодня ко мне не садись. Сядь подальше.

Единственный, кому будет дозволено в тот день поставить свою рюмку рядом с его рюмкой, — доктор Свободзичка. Доктор появляется в пивной

поздним вечером, он возвращается от человека, которому облегчил страдания (к завтрашнему утру боли пройдут, через три дня пройдет жар, через четыре дня придет слабость, через пять дней я сам приду), возвращается от человека, которому облегчил предсмертные, а может быть, предродовые муки. Сперва он ни слова не говоря пожимает Старому Кубице руку, потом садится, глядит на него внимательно.

— Все потерял, — не то утверждает, не то спрашивает он.

Старый Кубица молчит.

— Деньги дело наживное, через год все вернешь, через два еще больше накопишь.

Старый Кубица молчит, плавным движением берет бутылку, но доктор прикрывает свою рюмку ладонью.

— Мне тут одна мысль пришла, — произносит он, стараясь скрыть извиняющиеся нотки в голосе. — Чтоб не пить.

Дед с превеликим трудом поворачивает к доктору опухшее, с расплывшимися чертами лицо.

— Сколько? — не своим голосом спрашивает он. — Сколько? Месяц? До Страстной пятницы? Год?

— Мне вот какая мысль пришла: чтобы вообще

не пить. — Теперь доктору говорить явно легче, в его голосе уже нет виноватой интонации. — Проснулся утром и решил не пить, только некому было об этом сказать, да и все равно никто б не поверил. Но поскольку, как тебе, Павел, хорошо известно, одного пропойцу досконально понять может только другой пропойца, я попытался известить об этом своих собратьев во грехе, однако все они уже были пьяны. Вот и выходит, что одного пропойцу, который постановил на веки вечные расстаться с зеленым змием, может понять только другой пропойца, который тоже постановил расстаться с зеленым змием. Увы — за целый день никого такого я в наших краях не нашел. И к тебе, Павел, вижу, пришел слишком поздно, — доктор чуть-чуть приподнял прикрывающую рюмку ладонь. — А жаль, а жаль. Не сомневаюсь, что это великая и единственно правильная идея. Потом нашелся бы третий пропойца, который пожелал бы распрощаться с бутылкой, потом четвертый, пятый, сотый, десятитысячный. Получилась бы целая интернациональная армия пьянчуг, поддерживающих друг друга в благом деле. Если бы ты сегодня не пил, Павел, мы б с тобой вошли в историю как зачинатели всемирного движения. А так жалко…

— Чего жалко? — спрашивает совсем уж не своим голосом дед Кубица. Не все, что говорит доктор, до него доходит, но то, что доходит, ударяет как обухом по голове.

— Польшу жалко, — с горечью говорит доктор. — Польшу больше всего жалко. Польша могла бы стать первой, а так наверняка Америка нас опять опередит.

— Америка, — машинально повторяет дед, и ему вспоминается Америка, откуда он вернулся десять лет назад, и вспоминается зеленоглазая Дженнифер, дочь пастора, с которой он два раза ходил на прогулку. Они шли по тропке среди бескрайних полей кукурузы, на горизонте виднелась огромная, как океан, река Миссисипи, мой дед не понимал, что ему говорит зеленоглазая дочка пастора, но очень хотел, чтобы это было признание в горячих чувствах, чтобы Дженнифер уговаривала его остаться навсегда, чтобы рассказывала об их деревянном доме, из окон которого будет видна огромная река Миссисипи.

— Польшу жалко, — повторяет доктор, — жизнь жалко, нас жалко.

— Так ли, сяк ли, здесь, в Польше, или в Америке все равно сгинем, — говорит мой дед и видит, что рука доктора не только капитулирует и пе-

рестает оборонять подступы к рюмке, но даже выразительно пододвигает пустой сосуд к почти полной бутылке Бачевского.

И дед наливает доктору, и оба выпивают, и оба говорят:

— Твое здоровье, твое здоровье!

Чаша весов снова склоняется, но сейчас не на сторону злых духов — сейчас перевесили силы ада. Последняя рюмка становится пресловутой последней каплей. Старый Кубица чувствует, что от выпитого у него вот-вот расколется череп.

— Америка, Америка, — хрипит он, и в уголках рта у него выступает пена. Встает он, однако, на удивление бодро и твердым шагом направляется к двери. Забыв про тулуп, который остается горою лежать на стуле, словно порушенный бурей пастуший шалаш. В белой рубашке со стоячим воротничком и в черном жилете мой дед идет по снегу к своему дому. Мороз довершил начатое, мороз добавил к последней еще одну каплю, и Старый Кубица начинает кричать, начинает выть; страшен его вой, страшен, он воет так, как я выл, когда в моей квартире появились мафиози в сопровождении смуглолицей поэтессы Альберты Байбай.

Когда это было? Да и было ли вообще? Литерату-

ра, прошлое, старые истории? Нет, это настоящее: поздний январский вечер 1932 или 1933 года. Мой дед шатается и воет, как подстреленный зверь. Домашние уже издалека слышат его вой. Они уже убегают, уже дали деру. Бегут через сени, через темный двор, приставляют к лазу на чердак лестницу, поднимаются ловко, один за другим, как вымуштрованная рота пожарных. Когда Старый Кубица вваливается во двор, не слышно даже их дыхания, и он сам утихает, приходит в себя. Стоит на том же месте, где стоял утром, стоит на том же самом месте, хотя нельзя дважды встать на одно и то же место. Старый Кубица, похоже, читает то, что я пишу, потому что говорит, словно бы повторяя за мной:

— Нельзя дважды зарыться лицом в один и тот же снег. Нельзя, а может быть, тысяча чертей, можно?!

Он стоит на том же самом месте, затем по той же самой чисто выметенной дорожке идет к дровяному сараю, тем же самым движением берет топор. Деревянные ворота конюшни открываются и закрываются, и настает пронзительная тишина. Минута, две, три, пять минут пронзительно тихо, потом — возможно, близко, а возможно, и далеко — раздается глухой удар: мо-

жет быть, конь стукнул копытом о землю, может быть, треснула далекая сосна на склоне Оходзиты. И снова тихо, еще несколько секунд тишины и… сейчас загремит дьявольский оркестр, вот уже распахиваются ворота конюшни, бьют барабаны, кто-то пилит на расстроенной скрипке, кто-то колотит железом по железу, слышен безумный смех и вой, и крик слышен — это кричит мой дед, Старый Кубица. Он стоит на пороге конюшни, кровь течет по белой рубашке и черному жилету, в одной руке у него факел, другой рукой он поддерживает на плече ощеренную отрубленную голову гнедого Фукса. И вот он идет, ускоряет шаг, идет все быстрее, бежит пошатываясь; кровью и огнем отмечены его неверные шаги. Потом видно уже только поднимающееся вверх по крутизне мерцающее огненное знамя. Надо спалить лес, надо спалить снег, надо спалить мир. И через минуту пламя, яркое пламя вспыхивает на заснеженной горе, будто с ангельского крыла упала одна-единственная капля крови. Нет тебя, нет тебя — и никогда не будет. По воде, по воде — лебеди плывут.

23. Горячие чувства над Утратой

Дрожь зигзагами пробегает по нашим телам, мы сидим на каменной скамье над Утратой, я говорю: мельница на Утрате, ты говоришь: мельница на Лютыни[13]. Мы — пара, живьем взятая из буколической эклоги. Душно, что ни час проносятся внезапные ливни, мы встаем, идем в глубь леса, с каждым шагом лес все темнее. Ты приезжаешь в воскресенье. Около одиннадцати я жду у ворот больницы, ты сходишь с пригородной электрички и бежишь по перрону. (Ты есть.) Песчаная тропка от корпусов психушки ведет к Утрате. Я толстым слоем раскладываю на скамье номера «Газеты выборчей» за всю минувшую неделю, впереди у нас целая жизнь, целых семь часов, нельзя целую жизнь просидеть на голом камне.

По привычке, оставшейся от предыдущего пребывания на свободе, я покупаю в больничном киоске «Газету выборчу», читаю, а точнее, нетерпеливо ее перелистываю. Что творится в

---

[13] Примечания: 13

Имеются в виду повести Я. Ивашкевича «Мельница на Утрате» (1936) и «Мельница на Лютыни» (1946).

том мире? Да ничего. Люди умирают.

В диких садах бродят покойники, язык у них нечеловеческий и движения нечеловеческие, человекообразный облик им придают только одинаковые бело-голубые пижамы. Мы идем вдоль ограды, с другой стороны к ней приближается один из покойников, судорожно протягивает сквозь железные прутья руки и кричит:

— How do you do?

— O'kay, I'm fine[14], — машинально отвечаю я.

Его лицо вдруг проясняется, застывшей маски скончавшегося от боли покойника как не бывало: передо мной живая, сметливая физиономия ученого — физика или генетика, ныне пенсионера.

— А скажите, пожалуйста, — говорит воскресший чистым, звонким голосом, — что слышно в Польше? Что слышно на свете? Какие новости?

— Ничего особенного, — отвечаю я с естественным в моей ситуации смущением, — я мало что знаю, разве только из газет. — Показываю ему пачку «Выборчей». — Какие новости? Понятия не имею, что вас больше всего интересует… Франция выиграла на чемпионате мира, разбился огромный пассажирский самолет, у Валенсы нет

---

[14] Примечания: 14

Как поживаете? — Спасибо, прекрасно *(англ.).*

шансов…

— How do you do!!! — кричит мой собеседник нечеловеческим голосом, лицо его сереет и вновь превращается в искаженную страшной мукой посмертную маску, ты крепко хватаешь меня за руку, мы ускоряем шаг, вдогонку нам несется чистый, звонкий голос:

— Скажите, что слышно в Польше? Что слышно на свете?

Мы одни, совершенно одни, так что можно сказать: это лето жизни, единственный сезон, когда исполняются заветные желания. Мы идем в глубь темного леса, нам встречаются шизофреники и самоубийцы, тропка обрывается, небо темнеет, мы идем по пояс в мокрых зарослях, мы обнимаемся так, как никогда никто из живущих на земле не обнимался. Господи, рядом с ней я учусь свободе, мое сердце учится биться, я дышу, я существую, потому что на свете есть она. Брошенный в мокрую траву жакет — ну и что? Помятые и влажные брюки — ну и что? Шагать босиком и босиком вскочить в пригородную электричку — ну и что? Иди, иди сюда, вот так. На твою щеку падает тень листа и капля дождя. Я перестал бояться. Кто-то во мне перестал бояться. Совсем не боится. Не боится, что сюда, где мы без

памяти обнимаемся, вдруг явится непредсказуемый безумный покойник или что нас выследит эскадрон ординаторш. Меня не пугает будущая неделя, потому что я знаю: через неделю я снова увижу ее, бегущую по перрону; меня не пугает будущая жизнь, потому что я знаю: до конца жизни она будет со мной. Меня не пугает кошмарный сон, в котором мой дед Кубица бежит с отрубленной конской головой на плече; на нем окровавленная одежда, в руке горящий факел, он хочет поджечь замерзшие леса на Оходзите. Я еще слышу шипение огня, но уже не чувствую страха. Кто-то во мне не боится зеленоватых океанов зубровки, бурых озер горькой желудочной, не боится прозрачных рек чистого спирта — он уже на берегу.

Меня не страшат ненаписанные книги, я не боюсь в предрассветном больничном сумраке дописывать (в тихой комнате) последние строки романа в стихах, неопровержимо свидетельствующие, что автора спасла любовь. Столь счастливого завершения сюжета я, правда, не планировал.

— Я тебя люблю, но в мои планы это тоже не входило, — сказала ты, и твой взгляд поднялся над водами Утраты и устремился вверх, в небо

над лесом и дрожащим маревом вокруг аэродрома Окенче.

— А что входило в твои планы?

— Я намеревалась проверить твои хваленые способности.

— А после проверки?

— После проверки я намеревалась отпустить тебя на все четыре стороны.

— Ты говоришь моим языком.

— Нет, это ты говоришь моим языком.

— Кто же в таком случае сейчас говорит: ты или я?

— Мы, мы говорим. Никогда б не подумала, что множественное число может так возбуждать.

— Я тоже не планировал этой любви, честно говоря, у меня было намерение… Впрочем, неважно какое.

— Ты не только говоришь моим языком, у тебя и намерения такие же.

— Теперь у меня серьезные намерения, но раньше я не решался, боялся.

— Чего боялся?

— Я предполагал, нет, в сущности, был уверен, что ты в меня влюбишься и опять мне придется отбиваться — а дело это хлопотное и малоприятное.

— Это я была уверена, что ты в меня влюбишься и придется отбиваться от очередного поклонника.

— Я тебя предупреждал: берегись; при первой же встрече предупреждал: берегись, не справишься. Ты мне казалась ветреной барышней.

— А ты мне, честно говоря, казался легкомысленным обольстителем. Вот, думала, бездушный прохвост. Из чувства, не очень-то мне свойственного, но все же… из чувства бабьей солидарности даже хотела тебя проучить. Во всяком случае, не прочь была заставить тебя страдать, хотя знала, что долго страдать ты не станешь, не сомневалась, что пострадаешь немножко и утешишься в других объятиях. Но такого уже никогда не случится. Если только попробуешь, считай — нам обоим конец.

— Я никогда тебе не изменю. Никогда тебе не солгу. Раньше я бы сказал, что, по-моему, говорить так самоубийственно, еще год назад я бы именно это сказал, но я забыл тот язык. Я потерял свой язык, а может быть, вырвался из когтей своего языка, а может, мой язык сошел с котурнов на землю.

Еще месяц назад я собирался описать в этой главе систему моих личных вытрезвителей,

учреждавшихся моими очередными или параллельными возлюбленными; я даже придумал для них сногсшибательные имена: Баха Маклерша, Йоаська Гроза Дурдома, Обольстительная Звезда Экрана, Уругвайка Футболистка, Ася Катастрофа — и записал эти имена на карточках, но на днях ранним утром (тяжелые тучи над отделением для делирантов) увидел, как мои карточки пожирает огонь: сгорели все папки, заметки, имена. Прототипы героев обратились в пепел, ничего от них не осталось — то ли ничего в них и не было, то ли им одной спички было довольно, разницы, впрочем, никакой. Дотла сгорели все мои шикарные линованные тетради без полей, сгорел архив идей, хранившихся у меня в голове, закончилась литература. Я забросил трактат о пагубном пристрастии к спиртному, потерял всякое желание писать об этом пагубном пристрастии, я мог думать только о тебе. Мою голову и душу целиком заполнило пылкое чувство — я и не подозревал, что такое возможно. Если любовь — все сущее, как назвать нас, не существующих вне ее?

Еще несколько дней назад мне хотелось написать прощальную речь, которую я произнесу, покидая отделение для делирантов. Дорогие коллеги делиранты! Уважаемый доктор Гра-

нада! Виола, лучшая из сестер! Достойнейший психотерапевт о двух именах! И вы, тишайшие и прельстительные ординаторши! Завтра я покидаю эти стены, некогда возведенные то ли русскими, то ли австрийскими зодчими, ухожу с легким сердцем. Про русские то ли австрийские стены я упомянул, поскольку в моем освободившемся мозгу царит некоторый сумбур. Краков накладывается на Варшаву, Висла путается с Утратой, Ивашкевич с Гомбровичем, дым, что столбом валит из печей комбината им. Сендзимира (бывш. Ленина), примешивается к тучам запаха от больничных пижам. Кроме одной вещи, о которой я говорить не стану, нет сейчас у меня в голове ничего определенного, и все же об одной вещи — но не о той, о которой не скажу, а совсем о другой — мне не терпится вам сказать. Итак, независимо от того, какие я строю рожи, независимо оттого, сколь язвительно я смеюсь, независимо оттого, что я понаписал в тетрадях, уничтоженных вспыхнувшим в сердце пожаром, вопреки всякой видимости знайте: я чту вас, уважаемые прототипы, я испытываю к вам искреннейшее авторское почтение, вы и так существуете, но на согретых жаром моей души страницах ваше существование стократ более

реально. Живите и здравствуйте, призраки моих героев, я всегда и везде буду сочинять про вас захватывающие истории…

Еще вчера мне хотелось написать прощальную речь, но сегодня утром оказалось, что я не способен больше сочинять витиеватые речи. Я лишился такой способности и с огромным облегчением подумал, что теперь хочу писать про старые газеты, раскладываемые на каменной скамье над Утратой, про пустынные в предрассветную пору сады, куда спустя два-три часа хлынут покойники, про твой черный жакет в мокрой высокой траве.

В воскресенье около одиннадцати я стою у ворот больницы, в просторном кармане дорогого спортивного костюма безмятежно лежит свернутая трубкой очередная глава, вообще-то я могу здесь писать, вообще-то я писать не могу.

— Когда ты пишешь о пьянстве, как это влияет на твои отношения со спиртным? — спросила на одном из первых сеансов психотерапии ординаторша Кася.

— Никак, потому что, когда я пью, я не пишу, а когда пишу, не пью. Это две разные вещи.

— Нет, это не разные вещи. Не прикидывайся, будто не понимаешь вопроса.

— Мне понятен вопрос, и я готов на него ответить. Автор — не рассказчик, и рассказчик — не автор; так учат тех, кто готовится постичь тайны филологии, и это верно. Если я создаю персонаж, и даже если этот персонаж сконструирован по моему образцу, даже если он, подобно мне, пьет, и даже если его зовут Ежик, видит бог, все равно этот персонаж — не я!

— Не согласна. Рассказчик всегда — ты, он рождается из твоих мыслей, в твоей голове.

Я хотел было сказать, что не все рождающееся в моей голове имеет ко мне прямое отношение, хотел еще раз привести (хотя уже тысячу раз приводил) слова Франца Кафки: «У меня с самим собой нет ничего общего», хотел, наконец, защитить свое творчество от дозревающего в прелестной головке очкастой ординаторши запрета, однако раздумал. Запреты, как известно, подталкивают к конспирации, конспирация же подчас — прекрасный стимул к творчеству.

— Ты, кажется, пишешь здесь книгу о пьянстве. — Кася зачем-то удлиняла путь к неизбежному запрету.

— С некоторых пор я пишу о любви.

— Так или иначе, о пьянстве пока не пиши. Оставь на потом. Пойми, Ежик, потом тебе не захо-

чется об этом писать. Потом — как знать, — потом тебе, возможно, вообще писать не захочется. Нельзя ведь в жизни быть только писателем, нужно быть также приятелем, другом, коллегой, отцом, любовником, туристом, бог весть кем еще.

— Бог весть, — согласился я, и опять замолчал, и продолжал молчать, потому что говорить мне вроде было нечего. Или, может, следовало дать достойный графомана ответ: дескать, если мне не захочется писать, то и жить не захочется? В общем, я довольно долго молчал, но потом все-таки перемог себя, прервал молчание и сказал:

— Когда я пишу, я не пью, если бы я ежедневно писал, я бы и не пил ежедневно. Что и требуется — ведь такова цель лечения, и это, как сказал бы Сахарный Король, неопровержимый тезис.

— Послушай, Ежик, ты у нас принадлежишь к категории «трудных пациентов». Трудный — это такой пациент, который обладает незаурядными способностями в той либо иной области и, попав сюда, не только не в состоянии их искоренить, но и постоянно использует для оправдания своего пьянства. Лежал тут у меня один делирант, адвокат по профессии, так он в защиту своего пьянства произносил речи настолько убедитель-

ные, настолько аргументированные, да чего там говорить — такие блестящие, что едва меня не убедил. Слушая его, я плакала от восхищения, и всякий раз мне стоило немалого труда себя уговорить, что этот человек по всем статьям — наш пациент, что доказательства его непричастности липовые: все шесть основных признаков делирия у него налицо. Опять же еще один делирант, по профессии врач-уролог, попавший сюда несколько лет назад, вместо того чтобы самому лечиться и на этом сосредоточиться и этим ограничиться, с маниакальным упорством занимался другими делирантами, лечил их от урологических заболеваний или на худой конец давал по этой части советы.

Меня так и подмывало высокомерно и вопреки очевидному заявить, что урологические советы и литература — не одно и то же, но я придержал язык: нельзя ни в праведном пылу полемики, ни в защиту своего ремесла, ни даже в собственную защиту говорить неправду; урологические советы, вполне возможно, — настоящая литература.

Кроме того, Кася отчасти была права: я уже не хотел быть только писателем, мне теперь хотелось одного — быть с тобой. Но, поскольку ни Кася, ни психотерапевт Моисей, он же Я, Спи-

ритус, ни доктор Гранада, ни сам Господь Бог не порекомендовали мне сделать выбор между тобой и литературой, я продолжаю писать, хотя с некоторых пор в тайне ото всех. Если же устами ординаторши Каси со мной говорил Господь Бог и если это Он предложил мне на выбор пьянство или литературу — или лечиться от пьянства, или писать книгу, — то я, конечно, благодарю Его покорно, однако не могу не сказать: слишком хрупкую посланницу Ты выбрал. Господи, слишком хрупкую для такого закоренелого пропойцы, каким я был.

Ординаторша Кася сверлила меня взглядом, но я перед ее взглядом устоял; мало-помалу она заметно начала расслабляться, я тоже расслаблялся, но незаметно (хотя должно было быть наоборот). Я поднял голову, она опустила голову и сказала тишайшим голосом:

— Так или иначе, никто — ни я, ни кто-либо другой — и не подумает проверять твои рукописи.

Вот уж чего не стоило опасаться! Если эскадрон ординаторш и переворачивал вверх дном тумбочку делиранта, то исключительно с целью обнаружить спирт в тюбике от зубной пасты, горькую желудочную в пузырьке из-под шампуня, реланиум под стелькой в туфле. Антиалко-

гольные книжки и брошюры, опросные листы, сочинения на заданную тему, исповеди и дневники чувств порхали в воздухе: пожухшие, дочиста отдраенные от следов спиртного манускрипты делирантов никого не интересовали. Однако сам факт, что вообще кто-то смеет говорить о проверке моих бумаг (или даже о нежелании их проверять), естественно, крайне меня возмутил, и я решил писать скрытно.

Когда же в ходе лекции-беседы на тему «Как я объяснял и оправдывал свое пьянство» одна из ординаторш (неважно, кто именно) вырвала у меня тетрадь и принялась перерывать взглядом то, что там было написано, я решил — на всякий случай — полностью уйти в подполье. И так в этом деле, несмотря на его обременительность, поднаторел, что конспирация приобрела характер поистине творческий.

Я встаю в четыре утра, над садами психов курится туман, я втихаря прокрадываюсь в тихую комнату и втихаря пишу. В воскресенье с готовым сочинением в кармане я жду у ворот больницы. Около одиннадцати ты бежишь по перрону, мы идем по нашей тропке, садимся на каменную скамью над Утратой. В конце дня ты преспокойно проносишь очередную главу мимо охраны у

ворот. Вскакиваешь в пригородную электричку, доезжаешь до Центрального вокзала, там у тебя пересадка на экспресс «Интерсити», там ты уже в безопасности. (Несколько лет, а может, несколько месяцев назад — я почти угадал — ты была в трехстах километрах отсюда.) Сейчас уже вечер, корпус, где обретаются делиранты, окутан темнотой. Я сижу на койке в своей палате на пятерых и читаю твои письма. Ты сидишь в купе, и — если бы не то, что ты очень близко, — я бы, расчувствовавшись, сказал: ты все дальше и дальше… Но стоп: она есть. Она сидит у окна, смотрит на уходящие в никуда плоские равнины, расправляет на коленях (летние зеленые брюки почти совсем высохли) листки скверной бумаги в клеточку и читает, легко разбирая корявый почерк: «Дрожь зигзагами пробегает по нашим телам, мы сидим на каменной скамье над Утратой, я говорю: мельница на Утрате, ты говоришь: мельница на Лютыни…»

24. Неописанный побег Шимона

Ночь завладела отделением для делирантов, разгромленная армия полегла, коридор освещен единственной лампочкой, все спят. (Хотя один не спит, ему видится за туманом свобода.) Шимон Сама Доброта, стряхнув остатки неглубокого чуткого сна, встает, вытаскивает из-под кровати брезентовый мешок и бесшумно, чтобы не разбудить спящего соседа, начинает собирать вещи. Шимон Сама Доброта не любит своего спящего соседа, но борется с этим чувством, без устали повторяет: возлюби врага своего, без устали напоминает себе правила Общества анонимных алкоголиков, однако враждебность не покидает его души. Спящий сосед храпит, и Шимон по ночам не может спать. Спящий сосед взял у Шимона взаймы десять злотых, и Шимон знает, что никогда больше этих денег не увидит, хотя именно сейчас, когда он решил бежать, деньги ему позарез нужны. Спящий сосед без спроса берет Шимонову зажигалку и авторучку, и Шимон не находит в себе сил сделать ему замечание. А тот без стеснения поучает Шимона, чтобы закрывал

шкаф и тщательнее подметал пол в палате, когда его черед. В таких случаях враждебность не только у Шимона в душе, в таких случаях сам он, все его существо — враждебность.

— Что такое враждебность? — вопросил на одной из лекций психотерапевт Моисей, он же Я, Спиритус. — Что такое враждебность? — повторил он еще раз, когда же молчание в аудитории невыносимо затянулось, сформулировал, а затем продиктовал осовелым делирантам определение враждебности.

«Враждебность это, — дружно и вяло записывала еле живая армия, — враждебность это ярость, — писал вместе со всеми Шимон Сама Доброта, — враждебность это ярость, направленная против кого-либо или чего-либо». Шимон перечитал записанную в толстую общую тетрадь формулировку, мысли его прояснились, и он ощутил тревогу. По мнению Шимона — сумей он свое мнение высказать, — чрезмерное просветление мозгов доводит до ручки. Постичь что-то до конца — значит, ничего больше не иметь в запасе, а если у человека нет ничего в запасе, ему становится не по себе: человек чувствует себя так, будто у него кончились сигареты. Не «человек», а «я, Шимон». Не «я, Шимон», а «я, Ежик». И не

«становится не по себе», а «тянет выпить»...

Неужели эта задрыга Кася-ординаторша права? Неужели мне действительно расхотелось писать о пьянстве? А может, мне расхотелось писать, потому что расхотелось пить? Я писал, и получалось вроде как сражение с самим собой: то ли писать о пьянстве, то ли с пьянством завязывать; не знаю, проиграл я в этом сражении или выиграл. А может быть, со мной произошло то же, что с Марселем Прустом? Pourquoi pas? Why not? Warum nicht?[15] У Марселя Пруста (это мне запомнилось из лекции Яна Блонского[16], услышанной двадцать восемь лет назад) утраченное время героя — время, обретенное рассказчиком. У меня почти та же ситуация: я, рассказчик Ежик, не только обретаю утраченное время своего героя Алкаша, но и нахожу то, что он с самого начала тщетно искал. Попутно я обретаю разбазаренное и пропитое время других персонажей. Между мной и моими героями разница порой очень невелика. (Никаких противоречий с другими местами поэмы.) Между мной и мной тоже раз-

[15] Примечания: 15
Почему бы и нет? *(франц., англ., нем.).*

[16] Примечания: 16
Ян Блонский (р. 1933) — известный польский критик, эссеист, литературовед.

личия ерундовые, возможно даже, все ровно наоборот: Алкаш — рассказчик, а Ежик тщетно ищет предсмертную любовь, и в результате они легко подменяют друг друга.

Иными словами, не Дон Жуан Лопатка, а Я, Дон Жуан Лопатка. Не доктор Гранада, а Я, доктор Гранада. Не сестра Виола, а Я, сестра Виола. Und so weiter. Я не говорю на иностранных языках, но ординаторши оказывают на меня такое мощное воздействие, что иногда мне кажется: вот-вот заговорю. Мой усыпленный в детстве немецкий проснется, на своем школьном русском я начну бегло говорить и писать, про свой, так толком и не выученный английский с полным правом смогу сказать: very fluently[17]. Когда делиранты вдруг начинают шпарить на чужих языках, никто не удивляется — у нас в отделении и не такое бывает.

Шимон Сама Доброта оглядывает физиономии собравшихся в аудитории соратников и видит, что за неделю, три недели, месяц физиономии эти облагородились, отечность спала, носы побледнели, в глазах появился блеск. Ударник Социалистического Труда, например, изменился до

---

[17] Примечания: 17
Владею свободно *(англ.)*.

неузнаваемости. Еще недавно рожа у него была раздута, как футбольный мяч, седые патлы всклокочены, одежда в беспорядке, руки тряслись. А как он выглядит сейчас? Худощавое загорелое мужественное лицо, буйная седая шевелюра, элегантная фланелевая рубашка в красно-черную клетку, рука крепко и уверенно держит кружку с ячменным кофе. Ударник Социалистического Труда сейчас выглядит как старший брат Клинта Иствуда.

Делиранты вновь обретают зрение, слух и речь. Самый Неуловимый Террорист, for example[18]. Не знаю, упоминал ли я: дополнительная трудность при записывании сбивчивых излияний Террориста возникала от того, что говорил он едва слышным, хриплым шепотом. Знаменитый голос Яна Химильсбаха[19] на этапе окончательного исчезновения; голосовые связки ни к черту. А сейчас? По прошествии двух-трех недель? Сейчас Самый Неуловимый Террорист не только говорит так, что его можно понять, сейчас Самый Неуловимый Террорист говорит так, что его речи

---

[18] Примечания: 18

К примеру *(англ.)*.

[19] Примечания: 19

Ян Химильсбах (1931–1988) — каменщик, писатель, киноактер, обладавший характерным хриплым голосом.

просто необходимо увековечить. Он останавливает меня в коридоре и доверительно шепчет на ухо:

— Не горюй. Ежик, не горюй, еще придумают лекарство от нашей болезни. От сифа вот придумали.

— Если за каких-то несколько недель выпускники этого университета выходят из состояния немоты и отупения и начинают четко и образно формулировать мысли, — восхищенно бормочет себе под нос Колумб Первооткрыватель, — то я готов в графе «образование» впредь указывать два факультета: философский и делирический.

Или Сахарный Король. Я мало о нем пишу, потому что он мне мало симпатичен. Но и у него есть трогательная черта: он очень чувствителен к красоте природы и участи бездомных животных. Вся армия делирантов, почти без исключения, чувствительна к красоте природы и участи бездомных животных. В сумерках на полях мелькают тени — это делиранты собирают полевые цветы. Непослушные ноги ведут их на росистые луга за корпусами психов. На тумбочках стоят пышные букеты, запах васильков, ромашек, жимолости наполняет отделение, будто слезоточивый газ. Наглотавшиеся слез, одурма-

ненные запахом, делиранты спят. У психов всю ночь горят оранжевые огни, под окнами надрываются коты. Бессчетному кошачьему племени вольготно живется в дурдоме. Когда ни поглядишь в зарешеченное или незарешеченное окно, непременно увидишь шествующую из корпуса в корпус, из судебной медицины в неврологию кошачью стаю. Кошек здесь больше, чем делирантов, шизофреников и самоубийц, вместе взятых. И в глубине твердокаменной души Сахарного Короля живет великая к ним любовь. Сахарный Король каждый вечер украдкой заворачивает в обрывок «Газеты выборчей» мизерные остатки больничного пайка и с оглядкою направляется к амбулатории. Навстречу, из-за кирпичной стены выходит, можно сказать абсолютно черный, кот Ксендзуля; он был бы совсем черный, если б не белая отметина на шее — ну прямо воротничок священнослужителя. Вопрос, насколько крепки узы сердечной дружбы, связывающей Ксендзулю и Сахарного Короля, оставим без ответа, чтобы не огорчать последнего.

Ксендзуля доедает остатки холодных сосисок или вареной колбасы, без энтузиазма обнюхивает кусок недоваренной курицы и, словно по рассеянности, позволяет Сахарному Королю на

минутку взять себя на руки. Неподвижные, точно покойники, пациенты неврологического отделения глядят из-за мутных стекол на грузного мужчину в изумрудном спортивном костюме, который гладит и тискает кота, прижимается лицом к черной шубке и плачет, слезы капают на смоляной мех. Невеселые вещи вспоминаются Сахарному Королю, загубленная жизнь, былые забавы, недоступные больше женщины. Когда Сахарный Король последний раз брал на руки кошку? Во время оккупации? При Сталине? Позже вряд ли.

Ритуальная сцена кормления и пролития слез повторяется каждый вечер. Хотя нет, уже второй или третий день, как все изменилось. Ксендзуля пропал, не выходит из-за кирпичной стены в условленный час. Сахарный Король обошел всю территорию, все корпуса, по темному лесу добрался даже до Утраты — о Ксендзуле ни слуху ни духу.

Мы не рискуем открыто высмеивать ребяческое отчаяние Сахарного Короля, шлем ему лицемерно сочувственные взгляды, он же, уставив на нас мертвые, как камушки на дне Утраты, глаза, кричит:

— Чего кот! Чего кот! Очень ему нужен человек,

если у него тут шлюх навалом! Кошки — они всегда сами по себе, и это неопровержимый тезис!

Мне Сахарный Король не очень-то по душе, однако признаюсь: разница между нами невелика. А между мной и Шимоном Сама Доброта разница принципиальная. Шимон убегает.

Для человека, не собирающегося отказываться от горькой желудочной, доводы Шимона неопровержимы. Если бы Шимон закончил делирический факультет, если бы он не пропускал лекций и семинаров, добросовестно вел дневник чувств, безотказно писал исповеди и сочинения на заданную тему, если бы продержался до конца — пить ему было бы гораздо труднее, чем после побега. После побега с делирического факультета не только намного легче развязать — после побега выпивка становится насущнейшей необходимостью; а что рано или поздно заставляет бежать? Насущнейшая необходимость.

Закончить делирический факультет и продолжать пить — как-то не совсем прилично. Что люди скажут? Такой-то, скажут, закончил делирический факультет и продолжает пить? — да он же труп. А с другой стороны, пусть говорят: меня не раз видали в образе вонючего трупа, и ничего, я это пережил, и люди пережили. Люди ладно,

но что бы сказали призраки, имеющие обыкновение являться после энной бутылки горькой желудочной? Что бы они сказали, обступая меня плотным кольцом? Что бы сказал зеленокрылый ангел с боксерскими бицепсами? Что бы сказал мой дед, Старый Кубица? Что бы сказал, благоухая терпким одеколоном, мой якобы товарищ по воскресной школе?

Меня бросило в жар, потом в холод; прислонившись лбом к заиндевелому оконному стеклу, я увидел, как под шкурой, заросшей свинячьей щетиной, пульсируют изъеденные раком кишки.

— Собирайся, беги, убегай скорее. — Голос был очень похож на голос якобы Иосифа Плотника: та же дружелюбная интонация домашнего врача, только тембр чуть-чуть другой, пописклявее, но звучал голос, в общем-то, благожелательно. Я слушал и не ощущал холода. — Собирайся, беги, ты ведь можешь в любой момент махнуть куда глаза глядят.

— Я остаюсь. Убегает Шимон Сама Доброта.

— Хорошо говоришь, очень хорошо, — кажется, он судорожно хихикнул, — я остаюсь, Шимон уходит. Изъясняешься как, с позволения сказать, член политбюро: товарищ, наше дело проиграно. Вы уходите — я остаюсь.

— Ни слова о рухнувшей системе. Как меня от старой системы тошнило, так теперь от разговоров о ней тошнит. Блевать хочется…

— Ни слова о старой системе. Хорошо, славненько. Ни слова… Просто ты ничего вразумительного про старую систему сказать не можешь. От тебя только и слышишь дурацкие шуточки типа того, что «Солидарность» отобрала у тебя какую-то телку в желтом платье.

— Верно, «Солидарность» отобрала у меня, как ты выражаешься, телку в желтом платье, за что, впрочем, я этому профсоюзу сердечно благодарен.

— Знаем мы эту историю. Образно говоря: место желтого платья заняла черная блузка… Я не ошибся?

— Не твое собачье дело.

— До желтого платья и прочих развратных нарядов мне и вправду нет дела. А вот черная блузка — это интересно, черная блузка — это очень даже интересно, для меня черная блузка почти то же, что для тебя профсоюз «Солидарность»: я ей благодарен.

— Ты? Ей? Благодарен? За что, разреши узнать.

— За то, что ты протрезвел. Ты ведь ради нее протрезвел… А если и не ради нее, все равно это

в первую очередь ее заслуга. Ты фантастическим образом протрезвел. И трезвел решительно и красиво — так Луиш Фигу ведет мяч… Сейчас ты абсолютно трезв, и наконец-то, наконец можно начать с тобой переговоры.

— Со мной? Переговоры? О чем?

— О чем? Да о том, как дальше будешь пить. Вот теперь игра действительно стоит свеч. Черных.

— Боюсь, только зря время потратишь. Я понимаю, предлагать тебе переключиться на моих соратников нехорошо, а то и преступно, но здесь, на месте, ты без труда найдешь пару-тройку — как сказал бы доктор Гранада — орлов, готовых продолжить призрачный полет.

— Кого ты мне подсовываешь? Этих несчастных, которым денатурат разъел мозги? Неужели не видишь, что почти у всех твоих, как ты их пышно именуешь, соратников башка не варит? Не видишь? Откуда, кстати, в нас столько великодушия, с каких это пор мы больше не злопыхательствуем? Знаю, ты решил обучиться смирению и смирился, да только сам в свою кротость не веришь. Ханжой стал и лицемером, а это уж такая гадость — хуже не придумаешь.

— У меня тоже башка не варит.

— Ну уж нет, извини, пожалуйста. Даже здесь,

где с интеллектом, прямо скажем, не ахти, даже здесь красотки ординаторши до небес превозносят твои умственные способности. Об этом, кстати, я бы тоже хотел с тобой поговорить.

— О чем? Об ординаторшах или о моей башке?

— О том и о другом. Что касается красоток — бери какую хочешь. Тут мне хотя бы понятны причины твоего смирения и великодушия. Ординаторши тебе нравятся, поэтому ты великодушно позволяешь им талдычить: спускайте воду в туалете, чистите зубы, стирайте носки, помните, что отделение — наш маленький дом, а мы все — маленькая семья… Хорошо, славненько… Шестьдесят спившихся мужиков — это, как полагают красотки ординаторши, «маленькая семья». Сильно, видать, ты на них запал, раз такое выдерживаешь… Ладно, бери любую… Все будет как раньше — ни одна не устоит. Помнишь, как стрёмно бывало? Что же касается башки, не волнуйся, голова у тебя целехонька, и палка твоя тоже целехонька, алкарь-счастливчик, все, что нужно польскому писателю, у тебя есть.

— Будь у меня голова в порядке, я бы тебя не слышал и не видел.

— Ты меня и так плохо видишь и плохо слышишь. Выпей — услышишь и увидишь лучше.

— Не стану я пить. И ты об этом знаешь. Знаешь — потому и явился.

— Верно, я немного встревожился, но не так чтобы очень. Сегодня, сейчас — в самом деле не станешь… Но погодя… через год… два… не удержишься.

— Удержусь. Точно тебе говорю, черт: удержусь.

— Я не черт, я твой зеленокрылый ангел в золотой бейсболке. Впрочем, неважно, кто я… Ну а если что-нибудь случится? Вдруг случится — все равно удержишься?

— Никогда никакие реальные события на меня влияния не оказывали. Я пил, потому что пил. И никогда не пил из-за того, что, видите ли, что-то случилось. На худой конец события просто сопутствовали моим запоям. Например, я пил во время разрушения Берлинской стены, но не по поводу ее разрушения.

— А если бы случилось что-нибудь из ряда вон выходящее?

— Что, например?

— Допустим… Допустим, черная блузка исчезает из твоей жизни.

— Нету такой человеческой или нечеловеческой силы, которая смогла бы нас разлучить. Ты

тоже об этом знаешь и зря из кожи вон лезешь — глядеть на тебя жалко.

— Удержишься?

— Ты — свидетельство моего падения. Твой дом — не в подоблачных высях, ты живешь в подсобке винного магазина. Мой вечно поддатый ангел, мой черт, зеленым червем выползающий из бутылки горькой желудочной.

— Не унижай себя, Ежик. Лучше черт из бутылки, чем никакого. Я тоже сокрушаюсь над своей участью, мне бы хотелось быть чертом Федора Михайловича Достоевского или Томаса Манна, а довелось попасть к Ежику. О чем скорблю, но с чем вынужден примириться: видно, каждый имеет такого автора, какого заслуживает.

— Каждый имеет такого демона, какого заслуживает.

— Говорю тебе: лучше черт из бутылки горькой желудочной, чем никакого. Кроме того, горькая желудочная настойка не так уж плоха, а иногда очень даже прекрасно оттягивала. Помнишь, например, как зимой в четыре утра она прямо из бутылки божественным маршем отправлялась в глотку? Помнишь, какое парализующее блаженство охватывало тебя на пороге ночного магазина?

— Кончай, блевать хочется.

— Чего ты зациклился на этом «блевать хочется»? На коммунизме у тебя печать блевоты, на выдвинутых в адрес коммунизма обвинениях — печать блевоты, твое алкогольное и распутное прошлое тоже намертво запечатано блевотиной. Намертво, а ну как не намертво? Кое-что мы могли бы и отменить.

— Интересно, что б такого вы, господа с копытом, могли отменить?

— Много чего. Например, можно было бы избавить тебя от похмелья. А также отменить бессонницу, семь потов, корчи, страхи и видения.

— И что тогда? — допытывался я с упорством, достойным лучшего применения, но, как мне казалось, загоняя его в угол.

— Тогда бы все вернулось на двадцать лет назад. Вечером ты бы надрался как свинья и испытал громадное облегчение — ведь это главная цель твоей жизни: постоянно испытывать облегчение; итак, ты до глубокой ночи блаженствуешь в волнах чистейшего облегчения; затем крепкий сон, а утром — нив одном глазу. Утром прекрасный аппетит, яичница с ветчиной, контрастный душ, прогулка, ни следа недомогания, после обеда — чтение… Помнишь? Помнишь?

— Отлично помню. Отлично помню, что было тогда, что было перед тем, и особенно хорошо помню все, что было потом. Никогда ничего не забуду и именно поэтому…

— Поэтому в рот не возьмешь, даже если бы, как в прежние времена, знать не знал, что такое похмелье?

— Не возьму.

— Ты сам в свою лютеранскую несгибаемость не веришь. Если убежден, что не притронешься, зачем тогда здесь сидишь? Собирайся, беги. Подумай, через пару часов ты сможешь быть где только вздумается: в Сопоте, в Висле, в Ярочине…

— Я остаюсь. Убегает Шимон Сама Доброта.

— Да отстань ты от меня с этим недотепой! Его побег — неприкрытый кич и чистая графомания! Зачем ночью, если можно днем? Зачем через окно, если и двери, и ворота круглые сутки нараспашку? И почему именно через окно курилки, когда и в других помещениях нет решеток? Отсюда вообще нет нужды убегать, отсюда можно в любой момент просто выйти. В любое время дня или ночи — мешок на плечо, на посту сказать «пока, привет» — и в самом деле «привет». Никто даже не спросит, куда и зачем. А если кишка тонка

и открыто выйти из отделения через незапертую дверь не хватает духу, пусть смотается в город, тяпнет в ближайшем баре пивка плюс две или четыре по сто, вернется и храбро дунет в алкометр. И вся недолга: у тебя, брат, полтора промилле, собирай манатки и чтобы через пятнадцать минут духу твоего здесь не было. Привет. Зачем красться ночью, если все равно никто не караулит? Зачем изображать из себя отважного беглеца, если никто и не думает бросаться вдогонку? И вообще: почему он убегает? Какие у него мотивы? Потому что сосед по палате храпит? Потому что неудержимо тянет надраться? Потому что, если бежать без оглядки, можно вернуться в предыдущую инкарнацию? Потому что и то, и другое, и третье? Ну, убежит он, а что дальше? Поедет на такси в бар «Чаша ангела»? В ночной магазин? Подмажется парой хороших глотков, поднимется на лифте на двенадцатый этаж, отопрет дверь и начнет гадать, кто посетил его обитель в отсутствие хозяина? Кто тут был, когда меня не было?! И примется, прихлебывая из горла, наводить в доме порядок, да? Класть на место ключи, книги, пластинки, карандаши, фотографии, стаканы? Пылесосить полы, менять постельное белье, снимать занавески, готовиться к стирке? Насыплет

не скупясь в ванну порошок «Омо-Колор»? Выстирает загвазданную одежду и потом аккуратно развесит ее на балконе — очень тщательно, ибо, чем аккуратнее развесить, тем меньше потом возни с глажкой? А закончив труды, нальет себе заслуженную дозу горькой желудочной и выпьет, и заснет, и очнется в отделении для делирантов? Так вот, я, твой зеленокрылый ангел, не поспеваю за головокружительным развитием событий и заявляю: все это никуда не годится. Побег Шимона — чисто литературная история и вызывает только раздражение. Если интуиция еще не окончательно тебе изменила, брось эту литературщину. Послушайся меня напоследок, я сейчас тебя не искушаю, просто даю дружеский совет: не описывай побег Шимона. Не надо. И насчет возвращения утраченного времени не обольщайся, это все ребяческие мечты: не только время, даже истраченные деньги нельзя вернуть — и уж тем более водя пером по бумаге. Ты сам подсчитал, что за последние двадцать лет выпил две тысячи триста восемьдесят бутылок водки, две тысячи двести двадцать бутылок вина и две тысячи двести пятьдесят банок пива, то есть в пересчете на водку при коэффициенте: пол-литра водки эквивалентны двум бутылкам вина

или десяти банкам пива, — итак, в пересчете на водку ты за последние двадцать лет выпил три тысячи шестьсот пять бутылок, а в пересчете на сегодняшние деньги получается, что ты пропил семьдесят с гаком кусков. А еще сюда надо прибавить такси, чаевые, закуску, потерянные бумажники, сумки, шарфы, куртки, перчатки, документы, оплату реанимации на дому, пребывания в вытрезвителях, чудовищные счета за телефонные разговоры по пьянке, проценты, штрафы и расходы на продажных шлюх. И еще накинуть минимум два года дружбы с бутылкой, поскольку ты, Ежик, пить начал не в 1980 году от Рождества Христова, когда образовалась первая «Солидарность», ты, Ежик, по-настоящему начал пить в 1978 году от Рождества Христова, когда поляк вступил на папский престол, что, впрочем, даже если учитывать твое протестантство, случайное совпадение. Так что, грубо говоря. Ежик, ты пропил за свою жизнь по меньшей мере миллиард старых злотых, сумму для лоха, лицемерно изображающего смирение, практически невосполнимую — чтобы ее вернуть, тебе бы понадобилось на поэме, строки которой я в настоящий момент тебе диктую, заработать тот же миллиард старых злотых. Конечно, если бы

ты меня послушался, если бы слово в слово все записал, эта, на первый взгляд фантастическая, сумма могла бы оказаться вполне реальной. Ты, если бы постарался, мог бы ее заработать, мог выгодно продать наш совместный труд, мог возместить урон и — подумай только — мог бы продолжать пить. Но сам не пиши. Сам не пиши, Ежик. Заклинаю тебя: не пиши. Пусть побег Шимона останется не описанным в литературе.

Шимон Сама Доброта идет по освещенному единственной лампочкой коридору, открывает дверь курилки, подходит к незарешеченному окну и бросает вниз на траву брезентовый мешок, потом залезает на подоконник и мягко спрыгивает. Теплая августовская ночь, самолет на аэродроме Окенче заходит на посадку, пахнут васильки, ромашки и жимолость. Шимон Сама Доброта идет между кирпичными корпусами, видит оранжевый свет в окнах, слышит громыхание пригородной электрички, по траве бежит, можно сказать, абсолютно черный, с одной единственной белой отметиной, кот. За Шимоном идет не спеша зеленокрылый ангел, идут призраки покойников в бело-голубых пижамах. Следуют за ним неотступно, их все больше и больше. Не искушай меня, черт.

25. Вечное пробуждение

И мой порок сползал с меня, как сползает со змеи кожа, по стене скользили последние тени осязаемых призраков, она была со мной, она держала меня за руку, я чувствовал весенний прилив сил. Еще полгода назад я готовился к иному финалу, в глубине алчущей покоя души был уверен, что допишу до конца мрачную историю моего падения, поставлю точку на влажной бумаге и с помощью небольших, совсем уже небольших доз горькой желудочной сам отправлю себя на тот свет. Я рассчитал, что до финиша мне не хватает от силы пяти бутылок: два с половиной литра — и можно отдавать концы, в этом у меня не было сомнений. Расчет был точный, хорошо выверенный; кроме того, имелся еще дополнительный шанс, на который я очень рассчитывал: с некоторой и даже изрядной долей вероятности я мог откинуть коньки уже после третьей бутылки. (В таком случае две оставшиеся я бы завещал тем, кто проводит меня в последний путь, кто придет на поминки.)

Но сейчас (сейчас, то есть когда? сейчас! сейчас,

когда ты, в черной блузке и зеленых брюках, бежишь мне навстречу), сейчас душа моя не желает покоя, сейчас душа моя бурлит, как величайшие водопады мира.

Мне столько раз хотелось описать историю человека, поднимающегося со дна! Но всякий раз — а было их без счету, — когда я в результате непостижимого стечения обстоятельств сам поднимался со дна, когда меня поднимали со дна, когда-то чья-то видимая или невидимая рука вытаскивала меня со дна бездны, я не поспевал за собственным подъемом. Не могу я убедительно описать процесс собственного освобождения как череду последовательных событий, не получается эволюционная история воскресения — из-под пера выходят лишь эти епифанические строки, но ведь и воскресение мое было подобно епифании, было подобно хокку, было подобно одному, безошибочному, как молния, версету.

Десятилетиями я напивался как грязное животное, десятилетиями мало чем отличался от грязного животного, и вдруг за несколько часов протрезвел — и это отнюдь не моя заслуга. Не моя заслуга? Да-да, я не кокетничаю, у меня и в мыслях такого нет. Моя заслуга — мое отчаяние, моя заслуга — мои молитвы, и моя заслуга — моя

любовь.

Всего полгода, а может, всего неделю назад я барахтался глубоко подо льдом в замерзшем пруду, вода густела от снежной пыли, над моей хладеющей головой сомкнулась плотная ледяная корка. Тьма была кромешная. Окоченевающий мешок с костями — вот кто я был; стереотипная фабула собственной агонии меня разочаровала, все происходило так, как я тысячу раз читал; отяжелевшие веки сомкнулись, и мне стала вспоминаться вся моя загубленная жизнь; милосердный рок, однако, пожелал, чтобы первым делом вспомнился футбольный мяч, и я припомнил все забитые в детстве голы, и увидел, как от моего удара желтый венгерский мяч влетает в ворота на стадионе «Старт» в Висле, и увидел, как он влетает во все другие импровизированные ворота на краковских Блонях[20], и вспомнил гол, забитый головой на лугу возле туристской базы на Марковых Щавинах, и вспомнил голы, забитые в спортзале на Повонзках[21]. Мне вспомнились все мои футбольные сны, кошмары,

---

[20] Примечания: 20

Блоня — огромный (ок. 50 га) зеленый луг в пределах Кракова.

[21] Примечания: 21

Повонзки — район Варшавы; речь, возможно, идет о построенном там в 50-е годы XX века «Центре здоровья».

бредовые видения, и в своем предсмертном сне я уже машинально сгибал правую ногу — так, словно собирался в последний раз направить призрачный мяч в призрачные ворота, и стопа моя коснулась обледеневшей боковой линии последнего круга, и я оттолкнулся, да, да, как бы это ни звучало — а звучит это плохо, — я от нее оттолкнулся. Повторяю: меня разочаровала фабула агонии, но и фабула спасения оказалась не лучше, она тоже получилась незатейливой, как сюжет дамского романа.

Я коснулся стопой боковой линии, оттолкнулся и сперва медленно, а затем все быстрее начал подниматься вверх, и тут ко мне пришла уверенность. Я уже знал, что пробью самые темные слои, что мне хватит сил прорваться через замерзшее ледяное крошево. И пробил, и прорвался, и вот я здесь. Я здесь, посреди раздольных августовских полей, и ты со мной.

Вечером на веранде, откуда открывается бескрайний вид, мы будем пить чай. Наши души никогда отсюда не уйдут и никогда не погрузятся в сон.